Эллендея Проффер Тисли

Бродский среди нас

CORPUS

Перевод с английского
Виктора Голышева

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В начале 70-х годов американские слависты Эллендея и Карл Проффер создали издательство "Ардис", где печатали на русском и в переводе на английский книги, которые по цензурным соображениям не издавались в СССР. Во время одной из своих поездок в СССР они познакомились с Иосифом Бродским. Когда поэта выдворили из страны, именно Карл Проффер с большим трудом добился для него въездной визы в США и помог получить место университетского преподавателя. С 1977 года все русские поэтические книги И. Бродского публиковались в "Ардисе". Близкие отношения между Бродским и четой Проффер продолжались долгие годы. Перед смертью Карл Проффер работал над воспоминаниями, которые его вдова хотела опубликовать, но по воле Бродского они так и не увидели свет.В мемуары самой Эллендеи Проффер Тисли, посвященные Бродскому, вошли и фрагменты заметок Карла. Воспоминания Эллендеи Проффер Тисли подчас носят подчеркнуто полемический характер, восхищение поэтическим даром Бродского не мешает ей трезво оценивать некоторые события и факты его жизни.

•

Эллендея Проффер Тисли

Бродский среди нас
Россу

Ellendea Proffer Teasley
Brodsky Among Us
© 2014 by Ellendea Proffer Teasley

© В. Голышев, перевод на русский язык, 2015
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2015
© ООО “Издательство АСТ ”, 2015
Издательство CORPUS ®
Фотографии воспроизводятся с разрешения Casa Dana Group, Inc. and the Ardis Archive, University of Michigan **Предисловие**

Несколько слов о контексте

Мира, где Карл Проффер и я познакомились с Иосифом Бродским, давно нет, и по-настоящему знают его только дети “холодной войны”. Так что русским читателям, не знающим, как воспринимали то время молодые американцы, наверное, стоит сказать несколько слов о контексте данных мемуаров.

“Холодная война” начиналась, когда к концу подходила Вторая мировая война и военные и гражданские люди наблюдали, как Советский Союз подчиняет пограничные страны. Эти страны будут именоваться порабощенными или сателлитами – в зависимости от того, кто говорит. Ответом Соединенных Штатов на насильственную ассимиляцию этих стран были войны – наиболее масштабные в Корее и во Вьетнаме – и кровавые вмешательства в центрально– и южноамериканских странах. Советы оправдывали свои неприемлемые действия тем, что их огромной стране требуется защита от врагов в форме приграничных территорий. Америка оправдывала свои неприемлемые действия тем, что коммунизм ведет к тирании, и надо останавливать его везде, где он возникает. Это, конечно, очень упрощенное объяснение, но оно позволяет понять, почему в 1950-х и 1960-х годах между двумя великими ядерными державами установилась атмосфера взаимной подозрительности.

Россия присутствовала в повседневной жизни молодых американцев, и присутствие это было окрашено чувством страха. Мы прятались под столами в классе во время учебных тревог и знали, почему наши родители строят бомбоубежища. Нам снились бомбежки, и в нашем сознании Советский Союз был страной, которая подавила народные движения в Венгрии и Чехословакии. Вожди Советского Союза казались непостижимыми, и это рождало страх, что они под влиянием паранойи могут напасть на нас.

Когда наше поколение стало взрослым, его стало волновать постепенное втягивание Америки во вьетнамскую войну, где должны будут сражаться наши родственники, братья, чтобы непонятно как остановить коммунизм. Действовал призыв, и это заставляло молодых задуматься о характере разворачивающейся войны. Мы задумывались и пришли к выводу, что цена слишком

высока.

Учитывая угрозу, какой виделся Советский Союз, можно предположить, что Карл и я решили изучать русский язык в соответствии с почтенной традицией “познай врага своего”, но, как ни странно, двигало нами совсем не это: русскими исследованиями мы занялись из интереса к одной из великих мировых литератур. К ней мы пришли разными путями, но отозвалась она в нас одинаково. Эта литература, глубокая, богатая и мощная, стала для нас откровением после английской и французской, которые только и были нам знакомы. В девятнадцатом веке крестьянская, по большей части неграмотная, страна родила Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского и Чехова. За этим Золотым веком последовал трагический для России двадцатый век, когда война, революция, Гражданская война и тирания почти разрушили целую культуру. Чудо – что не до конца. Это была сильная литература, и мы были люди сильных эмоций.

Хотя Карл Рей Проффер родился в 1938 году, а я в 1944-м и выросли мы в разных частях страны, в наших биографиях было одно общее: никаких признаков того, что дальнейшая наша жизнь будет посвящена русской литературе.

Родители Карла Рея Проффера не закончили средней школы и, тем не менее, преуспели. Карл поступил в Мичиганский университет в Энн-Арборе, намереваясь стать баскетболистом или, если не получится, юристом. На первом курсе ему надо было выбрать иностранный язык; Карл посмотрел на доску со списком языков и впервые увидел русский алфавит. Он сказал себе: “Какой интересный алфавит”. Особенно привлекла его буква “ж”, похожая на бабочку. Эта красивая буква и побудила его выбрать русский, что, в свою очередь, побудило записаться на курсы по русской литературе. До тех пор Карл читал очень мало какой бы то ни было литературы, а теперь встретился с писателями русского Золотого века. Человек с превосходным умом, исключительной памятью и логическими способностями, он, наверное, должен был бы стать юристом – но влюбился в русскую литературу. Это было неожиданностью для всех вокруг, и родители беспокоились: много ли можно достичь в такой бесперспективной области? Он решил писать диссертацию о Гоголе.

В 1962 году Карл впервые посетил Советский Союз, и путешествие было не особенно приятным: немногие русские, с кем ему было позволено общаться, по большей части были из тех,

кто присматривал за иностранцами. Однако он смог поездить по стране и основательно поработать над Гоголем. В молодом своем возрасте он был уже превосходным преподавателем, переводчиком и исследователем. Главными его темами – и оказавшими наибольшее влияние на него – были Пушкин, Гоголь и Набоков.

В отличие от Карла, я выросла в читающей семье, хотя никто в ней особенно не интересовался иностранными языками. Первым моим русским знакомством был Достоевский – “Преступление и наказание” я прочла в тринадцать лет. Я сознавала, что не до конца поняла роман, но силу его почувствовала. В пятнадцать лет учитель математики, выучивший русский язык в армии, дал мне сборник стихов Маяковского в английском переводе; особенно сильное впечатление на меня произвела “Флейта-позвоночник”. (Конечно, я вообразить не могла, что когда-нибудь познакомлюсь с Лилей Брик, которой была посвящена поэма.)

В колледже я специализировалась по французскому и русскому и поступила в магистратуру Индианского университета. В первый год магистратуры я прочла “Мастера и Маргариту” и сразу поняла, что сосредоточусь в работе на этом романе.

С Карлом Проффером я познакомилась в том же году, 1966-м, на его скандально знаменитой лекции о “Лолите” (цитаты сексуального характера шокировали дам-эмигранток и вызывали оживление среди аспирантов). Он недавно стал профессором Индианского университета и писал свою вторую книгу “Ключи к «Лолите»”. За два года мы успели влюбиться друг в друга, разойтись с нашими партнерами и пожениться.

В январе 1969 года мы поехали по научному обмену в Москву. По дороге мы остановились в Нью-Йорке, и у нас состоялось несколько важных встреч в манхэттенских барах. В первом с нами встретился Глеб Струве, знаменитый литературовед из эмигрантов, и объявил, что мы должны отказаться от поездки, потому что в прошлом году Советы ввели танки в Чехословакию: на его взгляд, даже посещение Советского Союза было бы аморальным. Но нашего решения ничто не могло изменить. Мы устали от ожесточения “холодной войны”, мы хотели увидеть Советский Союз и сделать собственные выводы. Мы не могли гордиться своей страной, где шла такая тяжелая борьба за гражданские права афроамериканцев и считалось возможным бомбить мирных жителей Камбоджи и Вьетнама. Это заставляло усомниться в наших позициях в “холодной войне”. Мы хотели больше узнать о Советском Союзе.

Сами по себе мы определенно не получили бы доступа в круг советской интеллигенции. Карлу был всего тридцать один год, и русские литературоведы в то время ничего о нем не знали. А мне было двадцать пять – аспирантка, пишущая диссертацию о Булгакове. У нас был один козырь, но замечательный – рекомендательное письмо, полученное во втором баре в Манхэттене, от литературоведа Кларенса Брауна к Надежде Яковлевне Мандельштам, знаменитой мемуаристке и вдове Осипа Мандельштама. Это она позвонила Елене Сергеевне Булгаковой, и я смогла ее расспросить. А уже благодаря этому, в свою очередь, мы смогли встретиться со многими другими людьми из литературного мира.

После нескольких встреч с Надеждой Яковлевной наедине мы были приглашены на суаре в ее маленькой квартире. Она позвала к себе интересных людей, в том числе Льва Копелева и Раю Орлову, правоверных коммунистов в прошлом, которые стали диссидентами после доклада Хрущева на XX съезде. Эти энергичные, щедрые люди стали нашими близкими друзьями, при том что, впервые придя к нам в гостиницу “Армения”, они бесцеремонно забрали все наши английские книги, сказав, что им они больше нужны, чем нам…

В последующие годы (мы приезжали в Россию приблизительно раз в год до 1980-го) Копелевы – а также Инна Варламова, Константин Рудницкий и многие другие – устраивали нам встречи практически со всеми, с кем нам пришло бы в голову познакомиться, – от знаменитого литературоведа Михаила Бахтина до рабочего-диссидента Анатолия Марченко. Мы прошли быстрый курс обучения в области текущей и прошлой русской литературы – курс, какого не мог преподать в то время ни один американский университет: в наших списках для чтения практически не было современных писателей и очень мало было доступно в переводе.

Эти многочисленные встречи просветили нас и в отношении подлинной истории России и Советского Союза – благодаря рассказам живых свидетелей разных возрастов.

Большинство обыкновенных людей режим как будто не беспокоил, они жили своей повседневной жизнью, довольные тем, что квартиры и удобства субсидируются и хлеб стоит дешево. Для них было не важно, что они не могут путешествовать, смотреть какие-то фильмы, читать запрещенные книги. Жаловались они только тогда, когда сами или их дети сталкивались с системой, где нельзя чего-то добиться, если нет связей.

Русские, впустившие нас в свою жизнь, инстинктивно чувствовали, что с этими двумя молодыми американцами можно что-то сделать, – и просвещали нас. Они не жалели на нас времени – рассказывали о своей жизни, о своем прошлом, о своих ожиданиях и показывали, как выглядят вещи с их точки зрения. Теперь я понимаю, насколько важной оказалась эта встреча с определенным типом культуры при нашем складе ума. Мы были молоды, энергичны и близко к сердцу принимали идею освобождения. И главное, мысль и действие для нас были тесно связаны. В общем, мы действовали скорее инстинктивно. Для нас было большой удачей познакомиться с людьми московского и ленинградского литературного мира, но вернулись мы после полугодового пребывания в Союзе с тяжелым чувством. Россия – страна в цепях; это не было новостью, но столкнуться с этим лично совсем не то, что читать об этом. Мы были в ярости от того, какую жизнь вынуждены вести умные люди, и, думаю, идея “Ардиса” родилась из этого гнева.

После первых поездок в СССР мы поняли, что большинство людей на Западе не имеют представления о разнообразии и богатстве литературы, которая создается в советской России, и Карл задумался об издании журнала, посвященного писателям Серебряного века, часто игнорируемого нашими исследователями, и новым писателям, заслуживающим перевода. Осенью 1969 года он собрал маленькую группу наших друзей в Индианском университете (почти все они потом стали сотрудниками “Russian Literature Triquarterly”) и показал им примерное содержание первого выпуска журнала, посвященного русской литературе. Всех нас увлекла эта идея, но никто не верил в ее осуществление – кто будет журнал финансировать? Кто будет покупать? Ни один из нас не занимался издательской деятельностью, мы ничего в этом не смыслили. Предполагали, что займемся проектом в отдаленном будущем, если вообще займемся.

На самом деле “Ардис” заработал весной 1971 года: Карл заскучал и решил, что ему нужно хобби – может быть, печатать поэзию на ручном прессе. Он обратился в одну из многочисленных коммерческих типографий в Энн-Арборе (теперь он преподавал в Мичиганском университете), и ему посоветовали арендовать наборно-пишущую машину *IBM*. Увидев, на что годится эта машинка – в том числе для набора на кириллице, – он сделал следующий очевидный шаг: мы сами будем набирать журнал и печатать в Энн-Арборе, где типографские услуги при

тиражах меньше тысячи были очень дешевы.

Мы долго думали о названии этого, возможно весьма эфемерного, предприятия, и название, которое пришло нам в голову, родилось в результате нашей московской поездки 1969 года.

В 1969 году нам с Карлом дали номер в бывшей гостинице “Армения”. Не буду распространяться о многих странных приключениях в этой гостинице, никогда прежде не принимавшей иностранцев, скажу только, что она была идеальной декорацией для какого-нибудь набоковского рассказа.

Через несколько месяцев нам отчаянно захотелось прочесть что-нибудь новое по-английски. Газеты в посольстве были недельной давности, а библиотека, видимо, остановила комплектацию на Роберте Пенне Уоррене. Однажды, после месяцев бескнижья, к нам с диппочтой прибыл пакет. Набоков попросил журнал “Плейбой” послать Карлу верстку “Ады”, чтобы он откликнулся в колонке писем, когда журнал напечатает отрывок из нового романа. Это само по себе было поразительно, но что мы будем читать в очаровательном старомодном номере “Армении” еще не опубликованный роман Набокова, – такое нам не могло явиться в самых смелых фантазиях. Хотя брак наш был на редкость счастливый, “Ада” мгновенно внесла раскол в семью: оба хотели читать ее безотлагательно. Он, конечно, был специалистом по Набокову, зато я – запойной читательницей, и с этим, казалось мне, надо считаться. Мы стали воровать друг у друга книгу самым подлым образом: звонил телефон, Карл неосмотрительно откладывал роман, чтобы взять трубку, я тут же хватала книгу и убегала в ванную, чтобы прочесть следующую главу. Мы глотали роман, запоминали какие-то куски практически наизусть, и после этого “Ада” заняла в нашей памяти особое место, связавшись с этой гостиницей, с этой зимой и отчаянной жаждой прочесть что-нибудь свежее по-английски и чем-то уравновесить давление изучаемого русского мира. Чем-то, что напомнит нам, что мы происходим из английского языка, хотя – парадокс – роман был написан русским эмигрантом.

Той зимой мы понятия не имели о том, как переплетутся наши жизни с Россией, как тронут нас ее страдания и ее достижения, как изменятся наши жизни после знакомства с ее людьми, и замечательными, и ужасными. Наряду с внутренне свободными интеллигентами нам встречались бездушные бюрократы, обаятельные осведомители, печально скомпрометировавшие себя персонажи. У нас возникло желание

помочь, но мы еще не знали – как.

Когда пришла пора в 1971 году дать имя издательству, пока существовавшему только у нас в голове, мы с Карлом подумали о набоковской “Аде”, действие которой происходит в мифической стране с чертами и России, и Америки, в поместье “Ардис”, будто перекочевавшем сюда из Джейн Остен через Льва Толстого и преображенном любовью Набокова к русским усадьбам своего детства.

Карл верил в абсолютную ценность озарения – оно пришло к нему самому, когда из баскетболиста, по случайности занявшегося русским, он чуть ли не за одну ночь превратился в интеллектуала, посвятившего себя серьезным исследованиям. В поисках подходящей эмблемы издательства я просмотрела все свои книги по русскому искусству и остановилась на гравюре Фаворского с каретой. Пушкин сказал, что переводчики – почтовые лошади просвещения, – вот и дилижанс.

Через три месяца – невероятно короткий срок – у нас уже была тысяча экземпляров “Russian Literature Triquarterly”, оплаченная деньгами, взятыми взаймы у отца Карла, и сложенная в гараже нашего маленького дома. Как только был напечатан журнал, мы сделали репринт редкой книжки Мандельштама и опубликовали на русском окончательный, 1935 года, вариант булгаковской пьесы “Зойкина квартира”, который мне дали в Москве. В последующие годы книги издавались во всех отношениях лучше, но очарование тех первых лет ни с чем не сравнимо. Когда наступило время рассылать журнал, приходили друзья и помогали запечатывать их в конверты; все сидели на полу в гостиной, ели пиццу. Трудно было донести эту реальность до наших русских слушателей, они представляли себе всё по-другому. Они полагали, что мы разбогатеем, издавая русскую литературу, им трудно было взять в толк, что большинство переводчиков работают бесплатно. “Ардис” года бы не протянул, если бы не сотрудничество славистов и любителей, которые занимались этим делом только из любви. Мы были маленьким издательством, но самым большим издательством русской литературы за пределами России, и влияние наше было намного значительнее, чем можно предположить, судя по тиражам. В Америке мы ориентировались на библиотеки и выпускников колледжей, в России – на неведомых читателей, которые передавали книги из рук в руки и даже печатали копии – особенно Набокова.

Должна сказать благодарственное слово американцам за поддержку нашего издательства, о чем мало знают в России. Несмотря на примитивный дизайн и полиграфию наших первых

книг, рецензенты крупных газет и журналов быстро поняли, что́ мы пытаемся сделать, и дали на нас больше рецензий, чем мы могли надеяться. Они знали, что в финансовом смысле это безумное предприятие, и помогали, как могли. В 1989 году мне дали грант Макартура, и он нас долго поддерживал. Со временем Карл приобрел хороший навык общения с библиотекарями напрямую – одна рекламная листовка называлась “Силлогизм для библиотекарей”, – и это было жизненно важно, потому что продажи книг в твердых переплетах окупали издания в бумажной обложке. Иногда мы чувствовали, что и библиотекари стараются помочь “Ардису”.

Когда российские власти узнали, что мы стали издателями, это затруднило нам жизнь. За нами следили, наших знакомых допрашивала тайная полиция, даже держать у себя наши книги для читателей было опасно. Всех, кто имел с нами дело, мы предупреждали, что власти за нами присматривают, хотя любому русскому это и так было понятно. Атмосфера ограничений и запугивания заставила нас, наоборот, вести себя вызывающе. Мы боялись за наших друзей, но за себя – не очень. Видимо, возмущение перевешивало страх.

Мы знали наших авторов, поскольку познакомились почти со всеми здравствовавшими, но не знали своих читателей за пределами Москвы и Ленинграда и, наверное, так и не познакомились бы с ними, если бы не Московские книжные ярмарки.

Единственная ярмарка, где мы с Карлом присутствовали вместе, была в 1977 году – и это было памятное событие. Началась она скверно: цензоры хотели забрать все наши книги. К счастью, я спрятала русскую “Лолиту” в буфете, который они не удосужились обыскать. Пришлось сражаться, чтобы нам вернули хотя бы часть книг… О книжном голоде в России было известно, но размеров его нельзя было себе представить, пока не увидишь, как люди простаивают в очереди по два часа и больше, чтобы только зайти на стенд, где, по слухам, выставлены какие-то интересные книги. На эти ярмарки съезжались люди со всего Советского Союза, и некоторые из них вовсе не выглядели книгочеями – это были самые интересные посетители. Интеллигенты проталкивались к книгам Набокова и пытались стоя прочесть весь роман; людям же рабочего и крестьянского вида дела не было до Набокова, они шли прямо к биографии Есенина, где было много фотографий и в том числе одна, никогда не воспроизводившаяся в Советском Союзе, – Есенина после

самоубийства. Биография народного поэта была на английском, но все узнавали его лицо на обложке. Почему меня так трогала их реакция, объяснить не могу. Может быть, они знали, кто их понимал.

Наша дружба с русскими нередко приводила к драматическим событиям – некоторые описаны в этих воспоминаниях. “Ардис” стал существенной частью советского литературного мира: у нас начали публиковаться крупные писатели, которым надоело, что их книги калечит цензура. “Ардис” стал промежуточной станцией для писателей-эмигрантов, уехавших из Союза в 1970-х годах, когда стали выпускать евреев – и тех, кто могли “доказать”, что они евреи.

В 1973 году мы перебрались из маленького городского дома в старый загородный клуб с огромным полуподвалом. Теперь у нас было место и для кабинетов, и для хранения книг, и для многих русских гостей, иногда живших у нас месяцами.

Несмотря на все наши старания оставаться чисто литературным издательством, а не политическим, на нас скоро начались нападки в советской прессе. Половину книг мы печатали на русском, а половину на английском, в общей сложности получилось примерно четыреста названий. Из-за английских переводов власти и не решались нас запретить, потому что мы переводили советских писателей, которых они ценили, и ввиду этого определили нас как “сложное явление”, то есть за нами надлежало следить, но не вмешиваться.

Десять лет мы сталкивались с обычными проблемами иностранцев в Советском Союзе, но въезд Карлу был официально запрещен только в 1979 году из-за “Метрополя”. Я поехала в Москву в 1980 году, но в 1981-м мне тоже отказали. Группа известных и молодых писателей составила этот альманах, чтобы показать абсурдность цензуры, и мы его напечатали. Сборник не замышлялся как политический, но в советской ситуации оказался именно таким. Начальство было уязвлено тем, что в нем участвуют такие люди, как Аксенов и Вознесенский, литературные звезды. Почти все, причастные к сборнику, были так или иначе наказаны. Даже после Горбачева, до начала 1990-х, у меня каждый раз были сложности с пограничниками в аэропорту при въезде.

Карл больше не побывал в России – в 1982 году у него диагностировали рак. В Национальном институте здоровья, где Карл проходил интенсивную химиотерапию, он писал книгу “Вдовы России” – о знакомых нам женщинах, спасших

литературные документы для русской культуры.

Россия присутствовала на его похоронах – не только в лице русских друзей, но и в форме писем и телеграмм от незнакомцев со всего Советского Союза, слышавших о Карле по западному радио. Помню одну телеграмму из официально атеистического Советского Союза, когда Карл был еще в сознании, но очень болен: “Скажите Карлу Профферу, – говорилось в ней, – что за него отслужили молебен в Ленинграде”. Агностик Карл прослезился, услышав об этом.

Я руководила “Ардисом” с 1982 года (когда Карлу поставили диагноз, он сосредоточился на написании своих мемуаров “Вдовы России”) до 2002-го, и в числе наиболее успешных изданий на английском в этот период была антология “Glasnost” и аннотированный перевод “Мастера и Маргариты”. Булгаков, изданный у нас и на русском, был ярким примером того, как маленькое американское издательство может повлиять на литературный процесс в России. В 1980-х я без большой охоты начала печатать собрание сочинений Булгакова на русском, поскольку в Москве издание застряло из-за цензуры, а мои ученые друзья сказали мне, что оно никогда не выйдет, и сделать это должна я. Финансово это был неразумный проект, но я за него взялась. Эти первые ардисовские книги попали в Россию, и критик Лакшин написал статью в популярной московской газете с упреком советским издателям, что упустили Булгакова: теперь, писал он, собрание выходит “за океаном”. А это были мы – работали в полуподвале “Ардиса”, на другом берегу океана.

“Ардис” был представлен еще на двух книжных ярмарках в Москве, и на обеих отразились глубокие изменения в политическом строе страны. В 1987 году у меня еще были сложности с получением визы, и Роберт Бернстайн из “Рэндом хаус” пригрозил бойкотом со стороны других американских издателей, чтобы мне дали визу, когда ярмарка шла уже несколько дней. И опять книги были конфискованы цензорами. Когда я показала свидетельство об аккредитации человеку, регистрировавшему издательства, он ошарашенно прочел вслух мою фамилию, а потом вытащил наше издание Булгакова и попросил надписать. Во время ярмарки секретные сотрудники при литературе завели Рона Мейера и меня в отдельную комнату и угрожали преследованием за публикацию советских авторов без их разрешения. Я ответила, что это не так, я располагала подписанными контрактами. Сказала еще, что предпочитаю иметь дело с людьми Горбачева, а не Брежнева; они присмирели и отпустили меня. В 1989 году все изменилось, но меня продолжали держать на паспортном контроле, когда моя дочь

Арабелла давно прошла. Пограничник вел продолжительные переговоры по телефону с начальством, и я уже испугалась, что меня отправят обратно. Но тут появился Росс Тисли – он против правил прошел туда из зала ожидания, мимо охранников с автоматами. Он убедительно солгал паспортисту, сказав, что меня ожидают американские журналисты, чтобы взять интервью. Еще один звонок наверх – и меня пропустили. На той ярмарке 1989 года мы впервые увидели свободную публику – поразительное, радостное ощущение.

Издавать лучших советских писателей было честью для нас, и работа дала всем нам, сотрудникам “Ардиса”, нечто драгоценное: мы поняли смысл своей жизни – сыграть роль, пусть и маленькую, в публикации недостающих томов усеченной русской библиотеки. Русская культура одарила нас многим, но главным даром была дружба с замечательными людьми русского мыслящего мира, включая героя этих мемуаров. Трудно передать словами, что́ у меня на сердце, когда я пишу об этом. Правда – всего не скажешь.

Каких вы любите поэтов?

Поэты любят писать о поэтах. В прошлом году я наугад раскрыла книгу Владислава Ходасевича, прочла: “Блок был поэтом всегда, каждую минуту своей жизни”, – и подумала об Иосифе. Подумала об Иосифе, а потом подумала о Борхесе – впервые в жизни мысленно соединила этих двух писателей.

Когда мне было восемнадцать лет, меня пригласили на обед, устроенный в честь Хорхе Луиса Борхеса. Для меня это было первое литературное мероприятие, я была посторонней, но, очутившись в чужой среде, почему-то чувствовала себя свободно. Сотрудники испанского отделения отнеслись к Борхесу как к священной реликвии. Что он говорил, не помню. Запомнилась только его любезность. Но я запомнила кое-что еще из этого обеда: человек, сидевший справа от меня, спросил, каких я люблю поэтов.

– Мне нравятся некоторые стихотворения Йейтса, Элиота и Маяковского, – сказала я, пытаясь скрыть свое невежество.

Он сказал, что имеет в виду темперамент. Я не понимала значения темперамента в писателях. Не сознавала, что иногда тебе нужен Элиот, иногда Йейтс или, как сказал бы русский, иной раз Цветаева, а иной раз Мандельштам.

Теперь, когда я прочла многих поэтов, мне понятно, что этот вопрос заслуживает ответа. Тот, о ком я пишу, Иосиф Бродский, нобелевский лауреат по литературе и единственный русский,

ставший американским поэтом-лауреатом, считал, что меньший не может рассуждать о большем, но я полагаю, что кошке позволено смотреть на короля. **Большая Черемушкинская улица, 1969**

В Москве весна, но вокруг небольшого многоквартирного дома на Юго-Западе, где живет Надежда Яковлевна Мандельштам, природы мало. Мы с моим мужем Карлом Проффером стали бывать у нее начиная с февральского гололеда, и она ввела нас в литературные круги. У вдовы Осипа Мандельштама светлые ведьминские глаза, мелкие кошачьи зубы и детская улыбка с легкой приправкой яда. Ей шестьдесят девять лет, выглядит она гораздо старше, но хрупкость ее обманчива. Она закончила одну книгу воспоминаний, книга еще не издана. Те, кто читал рукопись, говорили, что мемуары ее будут сенсацией и расколят литературный мир… Она спрашивает меня:

– Вы когда-нибудь напишете о нас?

Я отвечаю:

– Нет.

Мне двадцать пять лет, и такая работа мне кажется немыслимой.

В этот день мы говорим ей, что собираемся на неделю в Ленинград.

– Раз вы едете в Ленинград, вам интересно будет познакомиться с Бродским.

Говорит так, как будто уже знает, что из этого получится, – а может, и вправду знает. Она мастерица связывать судьбы.

А тогда мы ничего особенного не ожидали. Ну, еще один писатель, с которым надо встретиться. В Москве больше никто не предлагал с ним познакомиться, хотя многие наши друзья знают его лично.

Мы читали его стихи и имеем представление о его биографии: в 1964 году Бродского обвинили в “тунеядстве” и приговорили к пяти годам исправительных работ в архангельской деревне. Благодаря кампании в западной прессе его освободили через восемнадцать месяцев. Знаменит он стал на Западе из-за этого суда. За его судьбой следят журнал “Энкаунтер”, Би-би-си и русские газеты в Париже и Нью-Йорке. Своей известностью он обязан записи судебного заседания, сделанной писательницей Фридой Вигдоровой с большим риском для себя. Но она присутствовала только на части процесса: опознав в ней журналистку, ее выдворили. Не будь этого документа, ставшего сенсацией в Европе, мир не прочел бы слов молодого поэта, такого беззащитного и в то же время полного достоинства, сказавшего, что он не тунеядец, а поэт и то, что он написал,

сослужит людям службу не только сейчас, но и будущим поколениям.

Для западных литераторов в эпоху “холодной войны” это было потрясением. Для нас же Бродский не был мучеником. Все зависит от контекста, а за те шесть месяцев, что мы соприкасались с советской литературной средой, контекст для нас решительно изменился. Например, наш друг, германист и диссидент Лев Копелев, провел в лагере восемнадцать лет; Варлам Шаламов, единственный писатель, воистину претворивший кошмар в литературу, отбыл там почти двадцать пять лет. В 1966 году за публикацию “антисоветских” произведений писатели Синявский и Даниэль были осуждены – первый на семь лет, второй на пять. Все говорят, Бродскому повезло, что Сартр принял в нем участие.

Надежда Яковлевна упоминала о Бродском несколько раз и говорила, что он настоящий поэт, но ему недостает дисциплины. И, как все почти, добавляет, что он самоучка. Уточняя, что самоучка не в том роде, что Давид Юм. Некоторые ее замечания для нас загадочны: Ахматова, утверждает она, оказала большое влияние на Бродского – в том смысле, как он себя держит. Она говорит, что он “очень внимательно” читал стихи и прозу Мандельштама.

Она дает нам его телефон и запечатанное письмо. В Москве она всего пять лет, а перед этим долго скиталась. Она пережила сталинский террор, не раз сталкивалась с осведомителями и поэтому весьма озабочена безопасностью: в письме, вероятно, сказано, что с нами можно общаться. Мы не знаем, что конкретно содержится в письме, не знаем, много ли она посылала к Бродскому американцев – скорее всего, нет, учитывая ее тогдашний страх перед общением с иностранцами.

У нас и в мыслях не было сказать Надежде Яковлевне “нет”, сославшись на то, что в Ленинграде нам надо за короткое время повидаться со многими. Надежда Мандельштам была одним из первых наших проводников по неведомому советскому миру; по ее звонку перед нами открывалось множество дверей и архивов. Мы согласились встретиться с Бродским просто потому, что она так хотела.

Дом Мурузи, 1969

Двадцать второго апреля 1969 года мы входим в комнатку Бродского, хозяин ее похож на американского выпускника. На нем голубая рубашка и вельветовые брюки. Очень западного вида брюки – прямо вызов режиму.

Двадцатидевятилетний Бродский – интересный мужчина,

рыжий, веснушчатый, что-то в нем от Трентиньяна. Личность его обозначает себя сразу – юмором, умом, очаровательной улыбкой. Курит беспрестанно и эффектно.

Самое замечательное в Бродском – решимость жить так, как будто он свободен в этой распростершейся на одиннадцать часовых поясов тюрьме под названием Советский Союз. В противостоянии с культурой “мы” он согласен быть только индивидуалистом – или не быть вообще. Кодекс его поведения выработан опытом жизни в тоталитарном обществе: человек, который не думает самостоятельно, который растворяется в группе, – сам часть пагубной системы.

Иосиф словоохотлив и раним. Еврейский выговор его слышен сразу: мать рассказывает, что ребенком она повела его к логопеду, но после первого же занятия он отказался к нему ходить. Он постоянно уточняет, смягчает свои высказывания, следит за вашей реакцией, ищет точки соприкосновения. Говорит о Донне и Баратынском (оба – поэты-мыслители), то и дело повторяя “да?”, как бы выясняя, согласны ли вы. (Впоследствии по-английски это будет у него “Yeah?”.) Этим он располагает к себе собеседника. Есть, конечно, и другой Иосиф – такого мы редко наблюдали, но часто о нем слышали – дерзкий, высокомерный, грубый. Помню, кто-то из друзей сказал о Маяковском: человек без кожи.

К русским поэтам отношение аудитории чуть ли не священное, влияние их можно сравнить с популярностью известнейших исполнителей авторских песен в Соединенных Штатах. Поэтам положено выступать, декламировать. Читая свои стихи, Иосиф превращается в музыкальный инструмент, его звучный голос заполняет каждый уголок помещения. Голос завораживает, запоминается, как сам его обладатель.

Иосиф реагирует на все в интеллектуальной сфере. Он постоянно генерирует идеи и образы, ищет прежде не замеченные связи и говорит о них по мере того, как они приходят ему в голову. Разговор с ним требует умственного напряжения, и ведет он себя так, как будто ваши мнения для него важны, – в этом часть его обаяния. Судя по его высказываниям о других поэтах, в нем силен дух соперничества, и порой он сам этого стесняется. Философски он держится позиции почти воинственного стоицизма. Говорит он: “Мы ничто перед лицом смерти”, а исходит от него – *я покорю*.

Поэт заявляет сразу, что он не диссидент – он не желает определять себя в какой бы то ни было оппозиции к советской власти; он предпочитает вести себя так, как будто этот режим не существует. На его взгляд, несправедливо, что диссиденты

привлекают внимание к себе, тогда как безымянные миллионы страдают молча. Нам это малопонятно, нам слышится здесь нотка самооправдания. Он неосмотрительно осуждает людей, зная, что они наши друзья, и в суждениях, кажется, исходит из политики. Он не может простить нашим друзьям Льву Копелеву и Рае Орловой, что они были коммунистами, хотя сейчас они диссиденты и из партии вышли после доклада Хрущева о сталинских преступлениях. Они дружат с Сахаровым, но, по мнению Иосифа, коммунистического прошлого нельзя извинить ничем. (Впоследствии я узнала, что перед арестом, будучи в Москве, он приходил за советом к Копелеву.) Сам он всегда готов дать совет, и, думаю, он пытался предостеречь нас от сомнительных дружб.

Из разговора стало понятно, что мы всего лишь последние из посещавших его иностранцев – до нас тут бывали и ученые люди, и просто приезжие из Европы и Северной Америки. Многие из них сыграют важную роль в его судьбе после эмиграции, но пока что они для него – гости из свободного мира.

Я понимаю, что Бродский выступает перед нами, в то же время нас оценивая; при этом чувствуется в нем некая застенчивость. Он физически беспокоен, ходит по комнате, берет какие-то вещи, проводит рукой по волосам. Все его тело участвует в общении. Даже выступление в роли “русского поэта” несет большую информацию. Бродский – конквистадор по натуре, и скрыть этого не могут ни слегка смущенные улыбки, ни нервная самоирония. Он колоссально уверен в себе как в поэте.

Во время этого разговора в первый день я замечаю, что Карл заинтересовал Иосифа; Карл очень высокий и, по словам наших русских друзей, похож на Роберта Луиса Стивенсона. Он специалист по Гоголю, Пушкину и Набокову; внешне он сдержан, скептичен. Интеллигенция сейчас увлечена Набоковым, а Карл состоит с ним в переписке – и это очень интересно Иосифу. Мною же Иосиф интересуется лишь постольку, поскольку я женщина – и молодая. Я пишу диссертацию о Булгакове, а он Бродскому неинтересен: слишком популярный писатель и потому не может быть хорошим. Мы получаем удовольствие от беспорядочной беседы, перескакивающей с темы на тему.

Когда мы приходим снова через несколько дней, Иосиф уже не выступает. Он жестом приглашает нас войти, а сам в это время разговаривает по телефону и, поглядывая на нас, говорит в трубку: “Здесь сижу – х… сосу”. Мы засмеялись, он засмеялся, и так началась наша близкая дружба с Бродским.

С этих первых встреч мы уходим бодрыми, веселыми, но и с некоторыми сомнениями из-за того, что Иосиф явно желает

подогнать мир под свое представление о том, каким он должен быть. Он последователен только в пределах стихотворения. Взгляды его меняются в зависимости от настроения. Для него важно *иметь* идею, а не *проверять* идею. Он категоричен, он вещает, но это нейтрализуется самоиронией и обаятельной улыбкой. Беседа для него – не только процесс общения: говоря, этот человек выясняет, что сам он думает.

Когда нет посторонних, мы подолгу говорим о литературе. Он настаивает, что малоодаренный (на наш взгляд) Тредиаковский – поэт замечательный, и предпочитает Пушкину Баратынского. Мы не согласны, и никакие его доводы нас не убеждают. Если ты русский поэт, можно понять, что тебе хотелось бы, чтобы Пушкин не существовал, – так же, как художники были бы не прочь, чтобы Пикассо умер в раннем возрасте.

Во время этого визита мы коснулись соперничества между Ленинградом-Петербургом и Москвой. Ленинград – искусственный город строгой геометрии и классицистического облика; это самый европейский город России, и он полагает себя выше всей остальной страны. Иосиф разделяет это убеждение. Бóльшая часть Советского Союза представляется варварской пустошью. Москва же органична для России, она центр власти и потому подозрительна. Мы не согласны – мы знакомы с культурнейшими людьми в Москве и думаем, что такие же живут в других уголках громадной страны.

Иосиф разговаривает так, как будто ты или культурный человек, или темный крестьянин. Канон западной классики не подлежит сомнению, и только знание его отделяет тебя от невежественной массы. Иосиф твердо убежден в том, что есть хороший вкус и есть дурной вкус, при том что четко определить эти категории не может. Однако его носовое, выразительное “Это просто *mauvais ton*[1]” звучит в высшей степени уничижительно. Мы сомневаемся в этих абсолютах, но понимаем, что для него это способ сохраниться как художнику в мире удушающей пропаганды, нацеленной на то, чтобы истребить само понятие интеллектуальной элиты. Иосиф твердо стоит на позиции индивидуализма, но при этом нисколько не кажется демократом. “Лучше, чем…” – одна из основополагающих его оценок, и для него важно, что он принадлежит к элите.

В некоторых отношениях он отличается от других писателей: он позволяет перебивать себя и даже приветствует это. Всякому переступившему его порог он готов уделить долю искреннего внимания. Он наживет сотни друзей и тысячи добрых знакомых. Это не типично для писателя, который все-таки должен работать в одиночестве. Но определять Бродского как экстраверта или

интроверта бессмысленно – в разное время он может быть и тем, и другим. Иосиф чувствителен и нуждается в тишине, но нуждается также в людях и отвлечениях. Иногда он боится остаться в одиночестве, а иногда во что бы то ни стало должен побыть один. Но по большей части он открыт миру самым неожиданным образом.

Несколькими днями позже он приглашает нас на вечеринку. В маленькой комнате теснятся три десятка людей, и нормальный разговор почти невозможен. Я не понимаю, зачем он нас позвал, – возможно, у него есть предчувствие, что мы будем что-то значить в его жизни. (Сами мы уже чувствуем, что он будет важен для нас.) Иосиф нервно пытается быть хорошим хозяином, проверяет, всем ли налито. Карл мягко спрашивает, почему он беспокоится. Он отвечает: “Хочу что-нибудь сделать или сказать, чтобы заполнить вакуум”.

С шестью или семью людьми из компании у нас завяжутся отношения; остальных я увижу только через тридцать с лишним лет.

Карл отлично выдерживает нечто вроде группового допроса и в ответ задает излюбленный вопрос: кто-нибудь из вас верит в свободу слова? Все сначала отвечают «да», а потом начинаются оговорки: да, но не для маоистов, не для марксистов и т. д. Карл говорит им, что в таком случае они не верят в свободу слова. Они же считают наивностью игнорировать последствия Октябрьской революции.

Друзья Бродского гордятся им чрезвычайно и говорят нам – когда он не слышит, – что перед нами самый большой русский поэт.

Нам жалко расставаться. Мы уже привязались к нему и опасаемся за его будущее. За эту неделю выяснились три важных факта об Иосифе Бродском: у него нездоровое сердце, он на пути к столкновению с государством и он жаждет вырваться из страны. Чем мы можем ему помочь?

Думаю, этот вопрос встает перед каждым гостем из заграницы, и можно только надеяться, что кто-то найдет решение. В 1969 году Иосиф видит только один выход: женитьба на иностранке. Когда его спрашивают, не согласен ли он выехать в Израиль (вымышленные родственники десятками шлют “приглашения”), он неизменно отвечает “нет”.

Мы снова в Москве, готовимся к отъезду – и вдруг звонок Иосифа: он приехал в Москву. И с ним, дома у Андрея Сергеева, мы провели вечер в очень русском духе: с поэзией, питьем и

политическими спорами. Андрей, с которым мы познакомились у Надежды Мандельштам, сыграл важную роль в литературном развитии Иосифа: ему принадлежат главные переводы Элиота, Фроста и Одена, печатавшиеся в журнале “Иностранная литература”. Именно он сказал Иосифу, что у него есть общие черты с поэзией Одена.

То, что Иосиф приобщился к английской и американской поэзии, мне кажется, необычно для русского поэта. Я видела многих, которые знали польскую, французскую и немецкую поэзию, но английские и американские стихи мало кого интересовали. На Иосифа больше всего повлияли Оден и Фрост, поэты очень не русские. Ему нравится их сдержанность, ирония и техническое мастерство. Французской поэзией он не интересуется – Валери и Вийона не упомянул ни разу. Не заговаривал и о Рильке, хотя тот явно для него важен.

У Сергеева мы по очереди читаем стихи: Карл – Пушкина по-русски, я – Йейтса; Иосиф не в восторге, говорит, что в исполнении нет драматизма, и это на самом деле так. У нас стихи можно читать просто. Этим вечером мы впервые слышим Иосифа по-английски. Он читает стихотворение Эдварда Арлингтона Робинсона, и понять ничего нельзя. Сам он уверен, что справился замечательно. Это важная для нас новость: у него очень сильный акцент, и читает он с русской интонацией, сам о том не подозревая.

Позже вечер принимает неприятный оборот. Андрей и Иосиф нападают на нас из-за нашего отношения к войне во Вьетнаме. Как и большинство людей нашего возраста, мы против войны. А они считают, что мы дураки, если не стремимся уничтожить коммунизм везде, где можем. Что до протестующих студентов в Америке – поделом, что их бьет полиция, пусть занимаются своими студенческими делами, а не играют в политику.

Этот спор естественно переходит к теме гражданских прав. Андрей и Иосиф в один голос говорят, что протестующие своего счастья не понимают – любой русский был бы рад жить так, как обыкновенный черный американец. Карл терпелив, даже когда возмущен, и только спрашивает, как именно, по их представлению, должны применяться к демонстрантам предлагаемые законы.

Слова, конечно, не дела, даже когда исходят из уст поэта, который иногда склонен думать, что это одно и то же. На самом деле в этой дискуссии они дают выход своему гневу на советскую систему.

Заканчивается наше пребывание в Москве, и перед отъездом – короткая встреча с Иосифом в сквере напротив Большого театра.

Мы сидим на скамейке и деревья роняют на нас комки пуха. “Ахматова писала об этих деревьях”, – говорит Иосиф. Вид у него немного грустный, сиротливый. Как будто думает, что мы можем забыть его. Он напрасно огорчается. Такая личность, как Иосиф Бродский, может встретиться раз в жизни, и трудно думать о нем, не прибегая к таким словам, как “судьба” и “предназначение”, потому что ими полон воздух вокруг него.

Лугано, 1969

Мы уехали из России летом, некоторое время провели в Оксфорде и отправились в Лугано, чтобы встретиться с Набоковыми, которые охотились там за бабочками. Позже, когда Карл сказал Бродскому, что его имя упоминалось в ходе долгого ужина, Иосиф был очень доволен.

С обоими этими замечательными писателями мы познакомились в 1969 году. Только теперь я осознала, что у этих людей, несмотря на разницу поколений и разное происхождение, удивительно много общего: оба – из Петербурга, города, которого они больше не увидят после отъезда на Запад, оба писали и по-русски, и по-английски, и обоих мы издавали на русском языке в 1970-х и 1980-х годах. Решительные противники советской власти, они не ожидали, что у них будут читатели на родине, и были удивлены и даже слушали с недоверием, когда я сообщила им – в разговорах с промежутком в пятнадцать лет, – что их высоко ценят читатели в Советском Союзе.

Я бы сказала, что Набоков не хотел посетить Россию, понимая, что это уже не та страна, какую он знал, а Бродский не хотел навестить ее, будучи уверен, что это та же самая страна, из которой он уехал.

И Набоков, и Бродский были очень остроумными людьми и очень чувствительными в том, что касалось их литературной чести. Оба были самоуверенны, честолюбивы, и в обоих жил сильный дух соревнования. Оба враждебно относились к тому, что понимали под фрейдовской теорией бессознательного.

До “Лолиты” материальное положение Набокова было шатким. Он перешел на английский из профессиональных соображений, понимая, что на эмигрантской аудитории не заработать, и в уверенности, что в Советской России читателей у него не будет. Не рассчитывал он и на то, что переход на другой язык принесет ему богатство – его первые английские книги не имели коммерческого успеха. Набоков с детства говорил на трех языках – на русском, французском и английском; английский был первым его языком. Он окончил Кембриджский университет. Проблемы *писать* на английском у него не было; совсем другая

проблема – *творить* на английском.

Физически и психологически образ Набокова производил сильное впечатление. По его внимательности можно было предположить в нем писателя; но также легко было угадать аристократа и ученого – как оно и было на самом деле. В отношении образованности и общей культуры он имел такие возможности, какие были недоступны Иосифу – и нам. В частной беседе он был шутлив и свободен – никакая тема не была запретной. Но, даже когда болтал, например об Апдайке, проскальзывала в его рассуждениях легкая тень *halluciné*[2]. Не то у Бродского: в разговоре он присутствовал целиком, всегда настроен на собеседника, всегда начеку.

Я бы сказала, что этих двух русских писателей отличал их подход к миру. Набоков был и художником, и ученым; его заботила точность. Иосиф старался познать мир через идеи о нем, которые у него уже сложились, и часто превращал свои чувства в факты; его не очень волновало, если какая-то деталь была ошибочной – лишь бы поэтическая строка удалась.

В результате этих разговоров в Лугано Набоков послал нам деньги, чтобы мы купили подарки Надежде Мандельштам и Иосифу Бродскому и привезли им, когда поедем туда в следующий раз.

Когда мы познакомились с Иосифом, он был очарован набоковской прозой, но это кончилось после того, как он услышал об отзыве Набокова на поэму, которую мы переправили по дипломатическим каналам в июне 1969 года. “Горбунов и Горчаков”, написанная под сильным влиянием Беккета (что упускают из виду русские исследователи), нам казалась шедевром – свой опыт пребывания в психиатрической больнице Иосиф претворил в нечто высокооригинальное. Эти стихи можно читать как разговор двух пациентов сумасшедшего дома или (и даже одновременно) как спор рассудка с самим собой. Технически это беспрецедентное достижение: помимо всего прочего Бродский изобрел новую для русской поэзии строфу. Впечатление такое, как будто поэт набрал полную грудь воздуху и выдохнул это длинное стихотворение, где рифма и метр – сами стали метафорами.

Когда мы вернулись в Америку, Карл послал Набокову экземпляр, надеясь, что поэма понравится. Она не понравилась. Иосиф спросил Карла, как к ней отнесся Набоков. Карл пересказал отзыв Набокова по возможности тактично, но Иосиф желал знать все, и Карл принял решение: в этой дружбе он будет настолько откровенным, насколько можно быть с Иосифом.

Набоков счел изъяном стихов неправильные ударения,

отсутствие словесной дисциплины и вообще многословие. Он несколько смягчил свою критику, заметив, что было бы несправедливо упирать на эстетику, учитывая жуткий фон и страдания, сквозящие в каждой строке.

Оценка Набокова не так уж отличалась от оценки Надежды Мандельштам – но она почувствовала мощь в этом потоке слов. Старшее поколение было особенно чувствительно к переменам в русском языке – а Иосиф в ранних произведениях свободно перемешивал все уровни речи, используя то, что для людей, родившихся до революции, звучало безобразно по-советски. (Позже он сам – воззрения нередко затвердевают вместе с артериями – выступал с инвективами против использования "уличного" языка в американской поэзии.)

Иосиф не забыл и не простил этой критики. Он разом понизил блестящего прозаика Набокова до статуса несостоявшегося поэта.

При всем, что у них есть общего, сравнивать этих двух писателей, по сути, бессмысленно: проза Набокова несравненно лучше прозы Бродского, поэзия Бродского несравненно лучше поэзии Набокова.

Канун Нового года, 1970

В последующие несколько лет, приезжая в Россию, мы каждый раз виделись с Бродским и узнали его гораздо лучше. Что я помню о манере русской речи Иосифа – и до сих пор мысленно слышу, – это его протяжное "так", подразумевавшее: "говорите дальше". Многие его замечания начинались со слов: "Все очень просто". Сквернословил он походя и элегантно и научил меня всем словам, которых я предположительно не знала. Любимыми его словечками были "следовательно", "то есть", "в конечном счете". У него была большая склонность к языку логической аргументации при сколь угодно сильном эмоциональном наполнении. (Позже, по-английски, он заканчивал свои утверждения словами: "It's as simple as that", хотя суть отнюдь не всегда была "simple". Вскоре наступила эпоха королевского "we" ("мы") и излюбленного "at the very least" ("как минимум").

Почувствовав себя раскрепощеннее с нами, он стал еще забавнее и обаятельнее. Одно из моих любимых воспоминаний: мы у него, Карл разговаривает с кем-то, а Иосиф спросил меня, знаю ли я знаменитую песню двадцатых годов "Купите бублики". Я не знала. Слушайте, сказал он, вам понравятся слова. И, усевшись на край кожаной кушетки, без всякого смущения запел. Это было замечательное, комическое исполнение жалобы уличной торговки:

Отец мой пьяница, за рюмкой тянется,

А мать уборщица, какой позор!

Сестра гулящая, тварь настоящая —

А мой братишечка – карманный вор.

Второй раз мы встретились с ним через год и к этому времени успели прочесть множество его стихотворений. Некоторые люди верили ему, когда он говорил, что не боится смерти. Мы – нет.

Он считал, что к ней так надо относиться, но жил он не так. Жил он со страхом, что может умереть от сердечного приступа в любую минуту; особенно обострялся этот страх, когда он надолго оставался один или с людьми, с которыми не чувствовал близости, – что, примерно, то же самое. В его поэзии то и дело возникает мир, где уже нет поэта, – своего рода элегия, обращенная в будущее.

Иосиф Бродский присутствовал в нашей жизни, даже когда мы находились в Америке. Если удавалось, он присылал нам забавные записочки с возвращавшимися иностранцами, мы тоже слали ему письма, изредка перезванивались. В то время по причинам, известным лишь богу запойных книгочеев, я углубилась в письма Байрона, и записки Иосифа были до удивления на них похожи: лаконичные, смешные и откровенные. У этих двух поэтов было много сходного: перемены настроения, влюбчивость и способность обрастать преданнейшими друзьями.

В ответ на одну из горестных открыток Иосифа, например, Карл ему писал:

А если серьезно, Джордж [Клайн], Э. и я долго и с любовью говорили о тебе. Он показывал твои фотографии – одна, на фоне северного леса, вызвала у Э. слезы, а у меня злость… В письме ты говоришь о недавнем унынии. Ты должен убить “Малоун умирающую”[3].

Не могу посоветовать, каким именно оружием, но надо, вообще человеку надо. Если ты можешь отослать от себя часть уныния в письмах, шли нам. Мы вынесем, потому что радостей у нас больше, чем мы заслуживаем.

Депрессия была опасностью для этого поэта. Из письма,

датированного 24 июня 1971 года, начинавшегося словами “Dear dear Carlendear”:

Заканчивая это письмо, я снова чувствую грусть… Как бы там ни было, хочу сказать, чтобы вы помнили всегда, так как вижу, что буду все реже и реже пользоваться этим словом: я, правда, люблю вас, всем сердцем, всей душой и всем, что еще осталось от ума… Потому что на ваших лицах написано больше, чем можно написать на бумаге. Простите.

Русские читатели часто упрекали Иосифа в холодности, но я никак не чувствовала ее в его стихотворениях; я видела в них человека, не желающего уступить своему страху, сказав заранее: мы ничто в общей системе мира. Позиция его – позиция мрачного реалиста, но в его поэзии есть кипение, отрицающее эту позицию. Техническая виртуозность Бродского, удовольствие, скажем, от того, чтобы придать контуру строф форму бабочки в стихотворении “Бабочка”, вселяет радость, потому что поэт сам радуется, сочиняя. По природе Бродский тяготел к метафизике; однако я почти готова доказывать, что он романтик: самым крупным его поэтическим проектом оказалось большое количество взаимосвязанных стихотворений о любви к одной женщине.

У Иосифа было огромное множество знакомых в России, он соприкасался с литературной элитой, молодыми поэтами из окружения Ахматовой, лингвистами тартуской школы (советской наследницы Пражского кружка). Бродский бросил школу в пятнадцать лет, и ему пришлось заниматься самыми разными работами, зато он получил возможность читать то, что ему интересно. Позже он нашел путь к самым качественным источникам литературной образованности, слушая лекции и встречаясь с учеными людьми. По моему ощущению, обучать его на самом деле было невозможно, поэтому школа (в особенности советская школа), вероятно, была для него невыносима. Сам же он учился великолепно, но только в тех областях, которые его интересовали. Поэтическая личность его сформировалась рано: почти с самого начала он искал то, что отвечало его мировоззрению. Ему не надо было дочитывать книгу до конца, чтобы она родила в нем четкий отклик, и то же самое, когда он слушал умный разговор, – нужные идеи он хватал из воздуха. Из-

за того, что он рано отказался от систематического образования, в его знаниях остались довольно большие пробелы, и он не знал, чего он не знает. По сути, он был единственным знатоком своего интеллектуального мира. Свое решение бросить школу он объяснял по-разному, часто – как решение этическое: он видел, что те, кто прошел советское обучение, теряют независимость. Однако мы знаем многих физиков, лингвистов и т. д., которые прошли через эту систему и отнюдь не потеряли способности мыслить самостоятельно. Однажды он сказал мне, что бросил из-за девушки – и это было бы очень в его духе.

Меня всегда удивляло, какие познания приписывают писателям литературоведы – словно писатель обязан быть ученым-философом. Некоторые были – Фрост был ведущим латинистом своего поколения. Элиот знал по меньшей мере четыре языка, два из них мертвые – но большинство учеными не были. Поэтами делает не эрудиция.

Широкие обобщения Иосифа не всегда выдерживали анализ. Такое, например, что угасающую империю удерживает от распада только лишь язык. Подобно тому как художники во главу угла ставят образ, обожествление языка в случае Иосифа – часть *déformation professionelle*[4]. Он думал, что если бы вожди читали больше стихов и научились ценить язык как таковой, это могло бы уберечь мир от тирании. В этом размашистом утверждении отражается его честолюбие: ему мало, чтобы поэзия была искусством, удовольствием и утешением, он хочет, чтобы она вела к чему-то значительно большему.

Известно его высказывание, что у прозы нет правил, – эта позиция возмущала прозаиков, читавших его рассуждения о превосходстве поэзии над прозой. При этом он часто говорил о желательности прозаического элемента в поэзии – чего-то в духе Достоевского. И ни разу, ни разу он не упомянул при мне “Евгения Онегина”, самого прославленного романа в стихах.

Длинные прозаические произведения он не всегда дочитывал до конца. Поэзию, конечно, читал основательно, даже плохую, и громадное количество стихов помнил наизусть. “Никогда не знаешь, у кого можно наткнуться на хорошую строчку”, – говорил он.

В разговорах его часто всплывало имя Анны Ахматовой; о ней он говорил так, как будто вполне осознал ее значение только после ее смерти. Она была первым знаменитым наставником Иосифа. В 1962 году, когда он с ней познакомился, она была единственным живым классиком русской поэзии – Пастернак умер в 1960-м. Некоторые друзья Иосифа знали его лично. Но Ахматова, в отличие от Пастернака, была великодушна с

молодыми. Приехав в Оксфорд, где ей была присвоена почетная степень доктора, она подробно рассказывала друзьям и знакомым о молодом Иосифе Бродском: так что, когда он покинул Россию, путь ему был уже приготовлен. Можно с уверенностью сказать, что Ахматова повлияла на судьбу Иосифа.

Иосиф откровенно говорил нам, что не очень любит ее поэзию. Ахматова, чрезвычайно проницательная в том, что касалось отношения людей к ее стихам (это ставило их порой в затруднительное положение), видела, что его поэзия решительно отличается от ее собственной, обманчиво простой. Иосиф пересказал мне ее слова: она не верит, что ему может нравиться ее поэзия. Он, разумеется, галантно возражал. Я думаю, Ахматову это не могло убедить, так же, как впоследствии Ахмадулину.

Однажды, когда у меня не шла работа, он сказал, что у Ахматовой на такой случай есть рецепт: немедленно переключиться на другую большую работу – это тебя раскрепостит… Странно и приятно было слышать совет Ахматовой в его пересказе – в отличие от Иосифа, я любила ее стихи, а сама она и ее жизнь вызывали у меня глубокий интерес.

На Иосифа очень повлияла ее способность прощать людей, убивших ее мужа и отправивших ее сына в лагерь. Эту сторону христианства он усвоил благодаря ей. В каком-то смысле она подготовила его к суду – показав, как подобает вести себя поэту; но, что еще важнее, он признал в ней того редкого человека, который научит быть развитым человеческим существом.

Во время наших приездов в Ленинград Иосиф приглашал к себе для встречи с нами лишь маленький круг друзей, и половина из них не были русскими. Сюда входили Леонид Чертков и его жена Таня Никольская, литературовед, литовский поэт Томас Венцлова, физик, литовец Ромас (Рамунас) Катилиус и его жена, узбечка Эля, тоже ученый.

В обычной беседе Иосиф был не таким, как в будущих официальных интервью, снятых на пленку или печатных. В интервью он *выступает*, рассчитывает эффекты, произносит монологи, а другой участник беседы для него не очень важен. В обычной жизни участников беседы было много, и друзья Иосифа, включая нас, не всегда с ним соглашались и не все ему спускали из уважения к его таланту. Мы были на равных.

В этот период Иосиф мог принять критику от некоторых людей, прежде всего от Черткова, поэта и литературоведа, который был семью годами старше Бродского и просидел пять лет в лагерях за то, что участвовал в протестах против советского вторжения в Венгрию. Когда Чертков говорил, Иосиф слушал. То же относилось к Томасу Венцлове и Ромасу Катилиусу, хотя они

были не так прямолинейны.

Эти люди были у него, когда мы приехали в 1970-м, в канун Нового года, и когда поняли, какую опасность представляет характер Бродского при его ситуации. Мы собирались встретить Новый год с Иосифом и несколькими близкими его друзьями. Днем мы были у него с Ромасом, который что-то искал в ящике его стола. На другой день Карл в зашифрованном виде записал происходившее:

Он [Ромас] увидел маленькую рукопись и вынул ее. Прочел с ошарашенным видом и передал Эллендее, которая явно пришла в ужас, и наконец прочел я. Ромас забрал бумагу, сделал несколько поправок, и Иосиф резко сказал ему: “Не ты написал, а я”.

“Я знаю эти дела”, – сказал он и добавил, что это сырой черновик, и он провозится с ним еще два дня. Письмо было адресовано Брежневу. Речь шла о вынесенном после суда над участниками “самолетного дела” смертном приговоре Эдуарду Кузнецову и его сообщнику Дымшицу.

Письмо начиналось примерно так: “Как гражданин, как писатель и просто как человек…” Это было ходатайство об отмене смертного приговора.

“Кровь – плохой строительный материал”, – писал Иосиф. Он сравнивал нынешнюю советскую власть с другими режимами, в том числе с нацистским и царским. Он проводил параллель между немцами и Советами в их антисемитской направленности. Он рассматривал это как государственную политику и сравнивал с царским режимом, установившим черту оседлости. Он писал, что народ достаточно натерпелся, и незачем добавлять еще смертную казнь. Ясно было, что, если Иосиф отправит это письмо, он сильно рискует своей свободой. Размеры этого риска стали предметом яростного спора два дня спустя. А пока что Ромас заспорил с Иосифом о чисто юридической стороне вопроса. Он сказал, что Иосиф ошибается, полагая, будто в Уголовном кодексе нет ничего о смертной казни только лишь за намерение совершить преступление, и пишет, что ни в одной стране намерение не приравнено к совершению преступления.

Иосиф возражал и достал книжку Уголовного кодекса. Ромас несколько минут ее листал и наконец нашел раздел, доказывавший, что намерение приравнивается к деянию. Иосиф сдался. Ромас сказал, что так обстоит дело во всех странах, унаследовавших кодекс Наполеона (с любыми вариациями). Иосиф ответил, что обычно не читает Уголовный кодекс (тем более что в глазах власти это пустая формальность), но

специально его достал, чтобы проверить. Это было характерно для него – отыскать неправильный вывод в требуемом источнике: настолько тверды его мнения относительно того, как должно все обстоять.

Оба они, кажется, были согласны в том, что процесс возник из-за провокатора, поскольку обычно газеты сообщали что-то не раньше, чем после месяца проверок, а тут отрапортовали на следующий день. Они размышляли, кто из двоих, приговоренных к смерти, мог быть провокатором. Пишу об этом как о характерной черте советской психологии, а не как о факте, касающемся подсудимых.

До сих пор помню, как при чтении этого письма я похолодела от ужаса: Иосиф в самом деле собирался его послать – и был бы арестован. Я еще подумала, что у Иосифа искаженное представление о том, сколько значат для людей на самом верху поэты, не опубликованные в Советском Союзе, – он ведь не Солженицын. Правда, он участвовал в поэтическом вечере наряду со звездами советского литературного мира: с Евтушенко, Вознесенским и Ахмадулиной. Эти поэты собирали стадионы. Иосифа печатали за границей, чаще в изданиях, вряд ли интересовавших КГБ, и его стихи не были открыто политическими. Склонна думать, что Иосиф считал долгом поэта реагировать на несправедливость, что сам его дар требует такой реакции. Я выучила не много русских пословиц, но, о какой думают Карл и Ромас, догадывалась: “Кто раз отведал тюремной баланды, будет жрать ее снова”.

Некстати было и то, что несколько лет назад Иосифа самого связывали с несостоявшейся попыткой угнать самолет. Это была не вымышленная история.

К общему облегчению, через день или около того стало известно, что смертную казнь заменили на лагерь. После этого случая наше беспокойство за будущее Иосифа усилилось: его надо было увозить, пока он не сделал чего-нибудь еще более вызывающего.

В эту новогоднюю поездку мы привезли с собой троих наших маленьких сыновей. Иосиф весело пронес младшего на плечах по коридору: Иэн, почти одногодок его сына, всегда будет его любимцем. Познакомившись с нашими детьми, Иосиф захотел устроить нам встречу с бывшей женой и сыном. (Брак не был зарегистрирован, так что не было и развода, но Иосиф считал ее своей женой.) Ребенку дали ее фамилию, по-видимому, чтобы не считался евреем. Для Иосифа это была последняя возможность

познакомить нас – нам предстояло вернуться в Москву, а оттуда домой. По телефону он называл Марину “Басманова” и просил привести сына, чтобы мы встретились в соседнем парке. Марина, конечно, пришла без Андрея. Это была высокая, привлекательная брюнетка, молчаливая, но она очень хорошела, когда смеялась – а смеялась потому, что, когда подошла, Иосиф учил меня правильно произносить слово “сволочь”.

По первому впечатлению, она была интересным, хотя и очень трудным человеком. Пробыла она с нами совсем недолго. Скоро мы поняли, что это была чрезвычайно важная встреча: мы познакомились с женщиной, оставившей громадный след в его поэзии.

Новый год мы встречали у Иосифа с Томасом Венцловой, Андреем Сергеевым и Чертковыми. Мать Иосифа Мария Моисеевна приготовила чудесную еду и выставила свою лучшую посуду и серебро, но сама с нами не осталась – может быть, и к лучшему, потому что за питье принялись весьма серьезно.

Впоследствии, когда я читала трогательное эссе Иосифа о родителях и дошла до места, где он говорит, что у них было не сильно развито самосознание[5], мне захотелось швырнуть книгу в стену. В своем эссе Иосиф смешивает категории: в отличие от него, родители, будучи людьми образованными, не были интеллектуалами, и к разрыву между поколениями это никакого отношения не имеет.

Они родились в мире, ненадолго ставшем свободным, а сформировала их жизнь под Сталиным, жизнь, когда заветными мыслями лучше было не делиться – особенно с отчаянным, безрассудным сыном, которого, видимо, не волновало, как скажутся его поступки на родителях. Для них было нешуточным ударом, когда его приговорили к ссылке, а их самих лишили пенсии и вынудили снова искать работу. Такова была система в Советском Союзе – наказать заодно с нарушителем его семью, и все мы знали, почему родителям не разрешали навестить его в Америке. Наказание все еще действовало, а Иосиф поссорился с влиятельными людьми, которые могли бы добиться отмены запрета.

Мария Бродская была сердечной, умной женщиной. Она очень баловала Иосифа – через год после его рождения отец ушел на войну и вернулся только, когда сыну было восемь лет. Происходила она из Латвии, знала немецкий, работала в самых разных местах (включая лагерь для военнопленных и ленинградскую тюрьму) бухгалтером и переводчицей.

Отец, Александр, был, пожалуй, холоднее, во всяком случае, по моему впечатлению. Вернувшись с войны на Дальнем Востоке (где еще помогал какое-то время китайским коммунистам) офицером флота – вскоре его уволили как еврея, – он был полон решимости привить мальчику дисциплину. Ничего не получалось: Иосифа нельзя было исправить даже битьем.

Жить в комнате, по существу отростке большой родительской, было трудно, но это имело свои преимущества: за квартиру Иосиф не платил, и мать всегда была готова его накормить. В отличие от своих сверстников с постоянной работой, он мог сидеть дома и зарабатывать какой-то минимум переводами.

Под Новый год Иосиф был весел и возбужден, и темы его были: смерть, Сэмюэл Беккет и приехавшая с нами красивая американка. Эта женщина, почувствовав намерения Иосифа, осталась в гостинице, но он решительно желал быть с ней. После нескольких ночных звонков к ней он проводил нас до гостиницы и убедил ее провести остаток ночи с ним. Это было наше первое знакомство с его романтическим напором – и он произвел впечатление.

На следующий день, 1 января 1970 года, мы пошли к Ромасу и Эле, где у Иосифа с Чертковым произошел ожесточенный спор из-за письма Брежневу и об идее справедливости. Чертков высмеивал мальчишеское представление Иосифа, что письмо являет собой важный нравственный акт. Дошло до того, что Иосиф сказал: лучше быть мертвым, чем красным, и что идеи – главное в искусстве. Нет, сказал Чертков, идеи убивают искусство.

А как насчет “не убий”? – спросил Иосиф.

Эта идея убила больше людей, чем любая другая, ответил Чертков и объяснил недоумевающему Иосифу, что имеет в виду Инквизицию и крестовые походы.

Дальше в рубку включились все, и в конце концов Иосиф сказал, что Вьетнам следовало бы превратить в автостоянку, а движение “Власть черным” подавить. Чертков обвинил его в расизме, а Иосиф сказал, что это шутка. (Думаю, он понимал в ту минуту, что окружен людьми, защищающими терпимость. Если бы там был Сергеев, Иосиф не пошел бы на попятный.)

Чертков не дал ему так легко отделаться. Спор этот явно шел у них не в первый раз. Нет, это повторяется слишком часто и слишком настойчиво – какая там шутка, сердито проворчал он. Томас Венцлова, человек менее горячий, вынужден был

вмешаться и громко объявил нам, что это просто-напросто студенческие споры.

К сожалению, это было не так. В ходе этих ссор на наших глазах ломалась дружба. Иосиф бывал крайне категоричен и, когда дело касалось советской власти, к терпимости относился нетерпимо. Он был, мягко говоря, несдержан; чудо, что наша дружба не разбилась в самом начале о камни политических разногласий.

Позже, в передней, когда мы уходили, Иосиф, чувствуя, что выглядел не в лучшем свете, сказал Карлу: “И все-таки справедливость важнее, чем все Пушкины и Набоковы. Новые Пушкины и Набоковы в любом случае родятся – а справедливость найдется не всегда”.

В каком-то смысле, это всегда верно, но Иосиф не задавался вопросом, что может означать справедливость для разных людей. Он не был эталоном справедливости, но и мы тоже: все мы были людьми, преданными своим убеждениям, пристрастными и знали это друг о друге.

На крыше Петропавловской крепости

Десятого мая 1972 года мы в комнате у Иосифа. Советское правительство затеяло большую приборку перед визитом президента Никсона, в ожидании завершающих штрихов разрядки. А приборка включает в себя укладку нового асфальта и избавление от диссидентов.

Иосиф обсуждает очередной вариант фиктивного брака. (Женитьба на иностранке теперь у него частая тема. В прошлом году он сделал предложение английской славистке Фейт Вигзел, но тогда предполагался настоящий брак.) Мы против нынешней кандидатки – она кажется неуравновешенной и вполне может не дать ему развода в Америке… Во время разговора раздается телефонный звонок. (Иосиф всегда берет трубку, что бы ни происходило.) Он говорит мало и вешает трубку с растерянным видом.

– Такого не бывает, – сказал он, кратко охарактеризовав отношения советского гражданина с государством.

Объясняет: получил приглашение в ОВИР (Отдел виз и регистрации, среди прочего выдающий выездные визы): не найдется ли у него время зайти к ним сегодня.

Решающую роль в необычном приглашении, я думаю, сыграл визит Никсона. Это было время перемен: в прошлом октябре Сахаров потребовал свободы эмиграции; в январе состоялся суд над диссидентом Буковским, и сейчас по стране идут обыски и аресты.

Мы приехали, чтобы повидаться с Иосифом, и власти об этом знают, потому что они постоянно следили за нами в Москве и продолжают следить в Ленинграде. Возможно, думают, что мы можем способствовать их плану, – и в каком-то отношении они правы.

Наше положение в России изменилось, стало более рискованным. В 1971 году мы основали издательство “Ардис” и напечатали стихи Иосифа в первом выпуске “Russian Literature Triquarterly” по-русски и по-английски и поместили много его фотографий. Это его первая значительная публикация в Соединенных Штатах. Друзья, у которых были знакомые в высоких темных сферах, предупреждали нас, что КГБ осведомлен о нашей деятельности.

В этом году чуть ли не во всех кухнях обсуждается идея эмиграции. Удивительно, насколько похоже разные люди объясняют свое желание уехать: я знаю, каково мое будущее здесь, никаких сюрпризов не ожидается; я хочу чего-то другого, пусть даже будет трудно. Я слышала это много раз, в том числе от Иосифа. Когда мы говорили, что им будет совсем нелегко у нас в стране, никто не верил – все рассчитывали, что ум и образование позволят им преодолеть все трудности.

Иосиф, ошеломленный непонятными возможностями, проводил нас до автобусной остановки; мы договорились встретиться позже в тот же день, после ОВИРа. Когда встретились снова, Иосиф был возбужден и растерян. Офицер ОВИРа сказал, что Иосиф должен уехать сейчас же, иначе для него наступит “горячее время”. Если Бродский согласится эмигрировать в Израиль, он сможет уехать через десять дней, пообещал офицер.

Это было особое предложение – и поступило оно в тот момент, когда Иосиф отчаянно хотел уехать, поэтому он принял его. В противном случае его ожидала тюрьма, он в этом не сомневался и рисковать не хотел.

Позже в тот день мы встретились снова и привели с собой детей. Как только мы вернулись в гостиницу, Карл, понимая, что сегодня совершается история, шифром записал то, что было.

“Что мне теперь делать?” – спросил Иосиф, когда мы сидели в его комнате (наши фотографии с ним и детьми сделаны в этот день). Все просто, сказал я, будете поэтом при Мичиганском университете. Я понятия не имел, как этого добиться, но решил, что надо поддержать в нем уверенность. Даже Эллендея глядела

недоверчиво; она знала то, чего не знал он, – даже на нашем отделении, может быть, только двое-трое прочли стихотворение Бродского, и как они отнесутся к тому, чтобы он стал их коллегой, предугадать было невозможно. Так или иначе, Иосиф все равно был обеспокоен предстоящим и, опасаясь, что комната прослушивается, предложил пройтись.

И мы – Иосиф, Эллендея, Эндрю, Кристофер Иэн и я – отправились на долгую утомительную прогулку от дома Иосифа, через Неву, к Петропавловской крепости, прославленной еще и тем, что служила тюрьмой для русских писателей (Достоевского, Чернышевского, Рылеева, Кюхельбекера и Горького – если упомянуть хотя бы немногих). Конечно, Ленинград не в первый раз видел фрисби, но все равно, наверное, было странно наблюдать, как столько людей перебрасываются ею в разных местах города и внутри крепости, неподалеку от великолепного собора, где похоронены цари, начиная с Петра Великого и до Александра III. На нас обращают внимание, а Иосиф, быстро меняя позиции вдогонку за улетающей тарелочкой, проверяет, нет ли хвоста. В конце концов он проводил нас через внутренность тюрьмы на крышу крепости. Мы перебрались через стены и по ветхой крыше к угловому бастиону, где, по словам Иосифа, он провел много часов. Отсюда можно было смотреть на загоравших под стеной у Невы и можно было разговаривать, не опасаясь чужих ушей.

В этом странном месте мы обсудили все проблемы, которые могли возникнуть в ближайшие несколько недель, – поговорили о том, что мне надо будет сделать, когда вернемся в Энн-Арбор, и как мы сможем обсуждать результаты по телефону (придумали кодовые слова для ключевых понятий). Эллендея и я пообещали, что с того момента, когда он прибудет в Вену, о нем позаботятся – по всей вероятности, я сам прилечу в Вену, чтобы его встретить. Если повезет, меня официально откомандирует университет, но если нет, я все равно прилечу. Формальности, наверное, будут сложными (насколько долгую и гнусную волокиту устроят наши бюрократы, мы себе тоже не представляли). Мы размышляли о его будущем: тогда да и потом я говорил, что в первый год или два особых проблем не возникнет, бояться русской знаменитости надо того, что будет после, когда притупится новизна, уляжется шум и забудутся его расхождения с властью.

Иосиф не собирался ехать в Израиль, не хотел и жить ни во Франции, ни в Англии – он хотел переехать в великую антисоветскую державу. Важно отметить: он знал, куда поедет, с

того самого дня, когда его пригласили в ОВИР. Позже возникали другие версии (например, его же интервью журналу “Пэрис ревью”), когда по причинам, мне непонятным, он представлял дело так, как будто совершенно не знал, куда ему ехать. У Иосифа было развито чувство вины, причем в разных отношениях, и, возможно, это сыграло здесь свою роль; но факт остается фактом: думал он только об одной стране.

Позже, много позже, Иосиф будет говорить, что его вышвырнули, выслали, что он уехал против воли, – но это было уже в другом мире, в другом ключе. А в тот день мы были с ним – и испытали огромное облегчение. Да, он расстается с родителями и друзьями, это будет тяжело; но он будет писать стихи, получит приличную медицинскую помощь – он останется жив.

Новость быстро разнеслась по среде его ленинградских знакомых. Перед тем, как мы уехали из города, один из его друзей, обеспокоенный тем, сколько мы берем на себя, если Иосиф прибудет к нам, сказал: “Он ссорится со всеми, в конце концов и с вами поссорится”.

Но поздно было нас предостерегать.

Дворец Шварценберг, 1972

Иосиф жил настоящим и бывал чрезмерно оптимистичен. Что покидает страну, ему было ясно, но, кажется, он не верил всерьез, что может никогда больше не увидеть родителей и друзей. Почему-то был уверен, что все они еще навестят его.

По всем рассказам, он нервничал и был возбужден перед отъездом, его провожали родители и друзья. Он знал, что Карл прилетит встречать его в Вену.

Он уже оповестил своих иностранных знакомых, что приезжает, и там вырабатывались самые разные планы. Одним из важнейших людей был Джордж Клайн, переводчик Бродского и профессор колледжа Брин-Мор. Он работал над тем, что станет первой серьезной книгой Бродского на английском – “Избранными стихотворениями” в издательстве “Пингвин” (1973). Джордж опубликовал много его стихов в периодике и делал все возможное, чтобы появления Иосифа ждали.

Перед Карлом стояла неимоверная задача: добиться, чтобы университет нанял русского поэта – которого никто не видел и не читал – и назначил на место приглашенного “писателя при университете”. Надо было убеждать глав отделений и деканов. К счастью, Карл умел быть убедительным: он подобрал нужные материалы и внушил людям, что, если они возьмут Иосифа Бродского, потом это будет вменено им в заслугу. Кроме того, он дал понять, что Бродский свободно говорит по-английски. Карл

был самым молодым профессором в истории Мичигана, и университетское начальство склонно было ему доверять. Бывший баскетболист, он умел двигаться быстро и видеть свободные зоны.

Иосиф потом очень радовался, что на этом посту его предшественниками были Роберт Фрост и У. Х. Оден, но тогда он этого еще не знал.

В конце концов Карл своего добился. Теперь предстояла изнурительная битва с бюрократией, битва, о которой Иосиф имел слабое представление: как ввезти в Соединенные Штаты человека, если у него виза в Израиль?

Карл, как и обещал, прилетел в Вену встречать Иосифа, и мы поддерживали связь по телефону. В те дни международные разговоры обходились дорого – ни интернета, ни мобильных телефонов не было. Карл заплатил за билет в Вену, за отель, где они с Иосифом остановились, и за прокат автомобиля, который им понадобится. “Ардис” уже заработал, но на все это денег не хватало – без кредитной карточки обойтись было бы невозможно. Карл давно принял решение, что ради Иосифа не пожалеет трудов.

Карл прилетел рано.

Было воскресенье, 4 июня, и самолет сел более или менее вовремя, в 5.35. Когда автобус подъехал к зданию, я увидел Иосифа за окном, и он меня увидел. Он показал два пальца буквой *V*. Внизу произошла десятиминутная задержка – затерялся один из двух его чемоданов – первое из механических препятствий, тормозивших наши дела в последующие дни. Появился Иосиф, мы обнялись. Оказалось, что его встречала еще Элизабет Маркштейн с мужем – венка, имевшая прочные связи с Россией. Я сел с ним в такси; в пути он нервно повторял одну и ту же фразу: “Странно, никаких чувств, ничего…” – немножко как сумасшедший у Гоголя. Изобилие вывесок, говорил он, заставляет крутить головой; его удивляло разнообразие марок машин. Он говорил: так много всего открывается взгляду, что он не успевает видеть (это он повторял несколько дней). И сказал, что сразу почувствовал в Будапеште, что воздух другой. А теперь оказалось, что и в Вене другой. Мы подъехали к скромному отелю “Бельвью”, ему понравилось название – оно ассоциировалось с Цветаевой. Мы прожили там несколько дней…

Как только мы вошли, он позвонил родителям и разговаривал с ними, наверное, полчаса. Рассказал мне немного об отъезде из Ленинграда, его провожали человек сорок. Документы обошлись ему в тысячу долларов, половина – истинно русский выверт – за

лишение советского гражданства! После таможенного обыска в Шереметьеве ему разрешили вывезти 104 доллара. Обыск продолжался часа два. Прощупали каждый шов, проверили по всей длине ленту в пишущей машинке, сломав при этом прижимную планку (эту старую машинку, как выяснилось, подарила ему Фрида Вигдорова). Он кричал на них; они отвечали, что имеют право; тогда, сказал он, пусть обзаведутся инструментами, чтобы этим заниматься. Они забрали его стихи; но он оттягивал отъезд сколько мог, чтобы отпечатать копии и сделать микрофильмы, а потом отослать, как он сказал, с корреспондентом “Таймс”…

Мы не знали тогда, сколько неприятностей причинит собирание и хранение его стихов людям в Ленинграде – Марамзину, Хейфецу, Эткинду – называю тех, кто пострадал.

В первый же вечер мы посетили Маркштейнов. В то время я не знал о ее коммунистическом прошлом и ее дружбе с Копелевыми.

С Маркштейном Иосиф обсуждал свое “прощальное” письмо Брежневу, о котором мне мало рассказывал. Сказал, что в нем содержатся те же идеи, что в неотправленном письме о смертном приговоре Кузнецову. Идея была такая: мы оба когда-нибудь умрем, вы и я. Это будет для него новой мыслью, сказал Иосиф. Настало время, когда сильный не всегда побеждает слабого, писал он и просил, чтобы его имя осталось в литературе и чтобы его родители получили те приблизительно тысячу рублей, которые причитаются ему за переводы.

Подчеркиваю: я сообщаю здесь то, что он сказал мне тогда и что я записал в дневнике. Целый текст я так и не прочел и сейчас не проверял, точно ли так у него было написано. Важно то, что́ он рассказал о письме тогда, и то, что он думал.

Маркштейн сказал, что он должен опубликовать письмо, но Иосиф ответил: “Нет, это касается только Брежнева и меня”. Маркштейн спросил: “А если опубликуете, оно уже не Брежневу?” Иосиф сказал: да, именно так.

Маркштейны были очень любезны и предложили, чтобы их молодые дочери показали нам Вену. Но по большей части мы были одни и, поскольку впервые могли долго побыть наедине, о многом разговаривали, особенно ночью.

Шок от переезда сменился у Иосифа злостью, и, пока они вдвоем гуляли по Вене, Иосиф без всякого повода обрушивался на целые группы писателей (в особенности на Евтушенко и Вознесенского) и диссидентов в целом. С ним случалось это и

раньше, но теперь – с какой-то истеричной энергией и в самых бранных выражениях.

Он был подавлен произошедшим, и нам еще придется видеть его таким в некоторых ситуациях.

Перед аудиторией он чувствовал себя нормально – у него была определенная роль. Но в обществе незнакомых людей он мог взбеситься и вести себя грубо. Он сам не раз говорил, что страдает какой-то эмоциональной клаустрофобией. А тут еще присутствовали ощущение бессилия и растерянность. То, что они с Карлом смогли прожить две недели в одном номере, свидетельствует о мужестве Иосифа и терпении Карла; наверняка это нелегко далось им обоим.

Они безуспешно препирались с консульством, посещали интересные места Вены, а потом решили найти Одена. Иосиф знал, что Оден еще живет у себя дома в Кирхштеттене, в часе езды от Вены. Оден очень много значил для Иосифа – больше любого другого поэта, – его поэзия находила в нем отклик. Друг Иосифа Андрей Сергеев говорил ему, что его поэзия напоминает поэзию Одена, и, когда Иосиф прочел английского поэта, это отразилось на его стихах. У русских поэтов правила эмоция, у Одена – сдержанность, и Бродский оценил это сразу. После того как была опубликована запись суда над Иосифом, Оден перевел (с подстрочника) несколько его стихотворений, а потом согласился написать вступление к готовящемуся в “Пингвине” сборнику избранного. Иосиф чрезвычайно гордился этой связью.

Он был смел в общении со знаменитыми и многого достигшими людьми – не по причине самомнения, хотя ценил себя высоко, – а потому, что относился серьезно к своему призванию. Вот почему он считал себя вправе обращаться к Брежневу – он поэт и, следовательно, ровня любому вождю. Быть поэтом для него – Божий дар, и он намерен был чтить свой талант и вести себя как подобает поэту. Частично это передалось ему, наверное, от Ахматовой, но стало определяющим в его жизни. Так что, как бы он ни робел при этом, он считал, что имеет право обратиться к У. Х. Одену. Карл взял прокатную машину и привез его в Кирхштеттен. Но первая встреча разочаровала.

Подойдя к Одену, я увидел на его лице испуг; ясно, что немало охотников до знаменитостей осаждало его в жизни, даже в этом отдаленном убежище. Отгоняя меня взмахом ладони, он сказал: “Нет, я занят сейчас”. Насколько мог сжато я объяснил ему, кто я такой и кто такой этот рыжий поэт позади меня, и какие необычайные обстоятельства привели сюда русского. Он не

слушал или не понял, продолжая отмахиваться от нас, как от назойливых насекомых, и Иосиф, покраснев, тянул меня прочь. Я, однако, повторил объяснение на языке “я Тарзан, ты Джейн”. В конце концов Оден понял, что это Бродский из России, которого он переводил и более или менее хвалил.

Тогда он все-таки пригласил нас в дом. Но тут не знал, что делать дальше. После некоторого бормотания он угостил нас вермутом (Иосиф своего не допил). Потом стал болтать о “гении Вознесенском”, не слушая реплик Иосифа и предупреждений, что не надо обманываться на его счет. В конце концов Иосиф не мог просто сказать: “Вознесенский – говно”, как обычно. Иосиф был очень расстроен, и, хотя Оден пригласил нас в субботу на обед (его компаньон тоже должен был присутствовать), когда мы отъехали по ухабистой дорожке, Иосиф проворчал, что возвращаться сюда вообще незачем: Оден ничего не понял.

Я должен был вернуться в Мичиган, поэтому поехать не мог; что до Иосифа, он, конечно, не захотел бы проявить неуважение к человеку такого калибра, как Оден. Он в самом деле поехал, очевидно понимая, что Оденом нельзя пренебрегать, даже если тот любит стихи Вознесенского. Во всяком случае, вторая встреча, как некогда с Ахматовой, видимо, удалась лучше: в итоге Иосиф и Оден полетели в Англию одним рейсом, и во многих отношениях покровительство Одена было чрезвычайно важно для Иосифа, искренне восхищавшегося английским поэтом.

В то время Иосиф еле-еле говорил и понимал по-английски и нуждался в переводчиках. Одним был Карл, а когда он улетел, появились другие. (Русские в Вене быстро разыскали Иосифа и стали ему помогать.) И все равно Оден, должно быть, почувствовал, что за личность – Бродский, раз Иосиф остался у него и вылетел с ним вместе. Об этом он рассказывает в эссе “Поклониться тени”.

Встреча с Оденом, хотя и невероятно важная для Иосифа, для Карла была лишь частным эпизодом в его сражении с бюрократией. Консульство получило некую негативную информацию из Москвы, из-за которой Иосиф представлялся нежелательной персоной. Например, были сведения, что он намеревался вступить в фиктивный брак с американской студенткой, – что, конечно, было правдой.

Иосиф был поражен тем, что вице-консул мистер Сигарс – черный; Карла же огорчало, что дипломат с трудом удерживается в рамках вежливости: он сомневался, что перед ним знаменитый поэт, сомневался, что тот заслуживает особого внимания, сомневался, что ему предложена работа в Мичигане.

По нашему опыту в Советском Союзе мы знали, что

американские дипломатические чиновники относятся к туристам и ученым, приезжающим по обмену, просто как к источнику возможных неприятностей. Отдельные дипломаты могли оказаться чуткими и не отказывались помочь, но вообще, отправляясь в посольство или консульство, на доброжелательность рассчитывать не приходилось. И даже на этом фоне посольство в Вене представлялось каменной стеной.

Моей задачей в Энн-Арборе было убедить университетское начальство, чтобы оно связалось с Сигарсом и сообщило, что Бродский утвержден на этот год в должности поэта при университете и таким образом имеет право на “исключительный статус”. Встревожившись из-за этой неожиданной задержки, я стала обзванивать друзей – журналистов и дипломатов, – чтобы посоветовали, как привезти поэта в страну. Я позвонила нашему другу Бобу Кайзеру в “Вашингтон пост”, в Толстовский фонд и сообщила о ситуации знакомым в “Нью-Йорк таймс”. Все мы полагали, что, как только Мичиган пошлет подтверждение, что Иосифу предложена работа, все пойдет гладко. Но что-то – или кто-то – тормозило процесс. Я должна была держать связь с людьми в университете – убедиться, что они следят за ходом дела, шлют телеграммы в Вену и т. д. А потом влияние на судьбу Иосифа стали оказывать средства массовой информации. Это интересная сторона жизни Иосифа – он привлекал их внимание, фактически ничего для этого не делая.

Хедрик Смит отослал статью седьмого июня, и восьмого она появилась в “Нью-Йорк таймс”: “Крупный советский поэт уезжает в США”. Статья меня обнадежила, но я еще не знала, что, прочтя эту статью на телетайпе, в Вену из Белграда прибыл двадцатишестилетний Строуб Талботт, сотрудник журнала “Тайм”. Вскоре группу во главе с ведущим Питером Калишером прислала в Вену телекомпания Си-би-эс.

Теперь мне стали звонить из крупных газет и журналов, просить сведений и фотографий, а я начала понимать, насколько полезно общественное внимание для застрявшего русского поэта. Это знание пригодится нам в дальнейшем для помощи другим писателям…

Детали стали преображаться уже в этих первых статьях: паспортная служба ОВИР превратилась в “тайную полицию”, и это было только начало мифологизации, венцом которой стало сообщение, что КГБ силой усадил Иосифа в самолет.

Сам Иосиф воспринимал все это как театр. Он все еще был оглушен отъездом из Союза и имел лишь смутное представление о переговорах. Кажется, он думал, что Карл может все, хотя это было далеко не так. Карл сам не знал до сих пор, что на

непрошибаемую бюрократию может подействовать внимание прессы, – зато знал Строуб Талботт.

Карл сообщал, что Строуб великолепно управлялся и с артачившимся Иосифом, и с консульством. Карл, Иосиф и Строуб встретились в кафе около отеля “Бристоль”. Талботт привел фотографа по фамилии Гесс, кажется, венца. Иосиф был настроен враждебно; он не хотел помощи от прессы и сказал, что хочет свернуть интервью как можно быстрее. Строуб, человек умный и умевший убеждать, использовал все возможные хитрости, чтобы Иосиф не оборвал разговор. Ему это удалось, и они пошли в квартиру Гесса, откуда Талботт намеревался позвонить в консульство, нажать на дипломатов.

Первым делом он поговорил с посольскими и искусно вынудил их дать четкие ответы – да или нет, от чего они до сих пор уклонялись. Он сказал Карлу, что его опыт общения с государственными служащими научил раньше всего вот чему: всегда исходить из того, что они лгут. (Позже Строуб стал видным дипломатом и заместителем государственного секретаря.) В этот решающий момент Строуб Талботт был лицом журнала “Тайм”, тогда очень влиятельного органа, и его интерес показывал людям в посольстве, что Иосиф не тот, кого они могут запросто спровадить в Израиль.

Группа из Си-би-эс с Питером Калишером прибыла, чтобы сопровождать Карла и Иосифа в очередном их походе к вице-консулу – как предполагалось, за окончательным ответом. Калишер был классический ведущий: он то и дело поправлял прическу перед зеркалом и в минуту мужской откровенности сказал Карлу, что надеется на отрицательный ответ консульства – “тогда шоу будет интереснее”.

Карл с большим удовольствием наблюдал за стимулирующим действием телевизионной группы на сотрудников посольства, дотоле безучастных. Теперь они невнятно пообещали кое-что предпринять – до сих пор ничего столь обнадеживающего услышать от них не удавалось.

Благодаря Калишеру Иосиф впервые принял участие в телевизионном шоу, устроенном в великолепном отеле “Пале де Шварценберг”. Поэта сняли картинно прогуливающимся по дорожке и читающим свои стихи по-русски. Карл был изумлен банальностью подачи, но это не имело значения: в итоге запись так и не пошла в эфир. Ее отправили не в тот город – в Кабул.

Письмо из Мичиганского университета в конце концов подействовало, и теперь Карлу и Иосифу предстояло иметь дело с самой отвратительной организацией из всех – иммиграционной службой США: там, независимо от того, какая человеку

предложена работа, он заведомо считался преступником и, чтобы его впустили в нашу сиятельную демократию, обязан был доказать обратное.

Оставив Иосифа на попечение Маркштейнов и Одена, Карл десятого июня вернулся в Штаты – его ожидала масса работы с бумагами, которых требовало от университета Министерство труда. Мы должны были собрать нужные материалы. Например, надо было представить документы из других университетов с указанием годового жалованья, которое “обычно” выплачивается состоящим при них русским поэтам.

Иосиф получил визу пятнадцатого июня, и мы отпраздновали это по телефону.

Энн-Арбор

Первое утро Иосифа Бродского в Америке. Я спустилась вниз и увидела растерянного поэта. Сжимая голову ладонями, он сказал: “Все это сюрреально”.

У меня ощущение было такое же. Иосиф в нашем маленьком доме, обставленном в стиле семидесятых годов: ковер по всему полу, “средиземноморский” диван и обеденный гарнитур моей свекрови, теперь используемый для совещаний.

– Встал сегодня – сказал он с юмором и недоумением, – и вижу: Иэн сидит на кухонной стойке. Засовывает хлеб в металлическую штуку. Потом хлеб сам выскакивает. Ничего не понимаю.

Он прилетел в Детройт накануне, прямо из Лондона, после первых встреч со знаменитыми британскими поэтами. И вот он в Энн-Арборе, совсем не похожем на то, что он себе представлял; действительно – как та лягушка, которая проснулась и увидела, что она в пустыне Гоби. Подобно многим эмигрантам, он воображал, что эта страна похожа на их прежнюю – за вычетом всех неприятных сторон. Он не был готов к встрече с этим странным городом и к своему положению в нем.

Позже он говорил, что был рад, что его жизнь здесь началась с Энн-Арбора, а не с Нью-Йорка – у него было время адаптироваться и приобрести кое-какую беглость в английском. Тем не менее, начальный период был трудным для него: глаз не мог привыкнуть к масштабам университетского города со стотысячным населением (из которого тридцать тысяч были студенты Мичиганского университета). Советская Россия была централизованной вселенной, тяготевшей к двум всего городам – Москве и Ленинграду. В Америке же центров силы много, и некоторые из них выглядели, как этот город. Иосиф был достаточно умен и понял, что попал в культуру низкого

контекста. Единственным, что объединяло многообразный мир американцев, была популярная культура, но и это связующее было слабее централизованной советской пропаганды.

Энн-Арбор был основной базой Иосифа до 1981 года; он будет возвращаться сюда даже после отъезда и всегда встречать теплый прием. Поначалу он жаловался русским друзьям, что Энн-Арбор – пустыня, но вообще-то дело обстояло гораздо хуже: здесь он был вынужден учиться многим новым вещам, иногда вопреки своим склонностям. Мы учили его, как жить независимо в Америке – открывать счет в банке, выписывать чеки, покупать еду, водить машину, – и ему это давалось трудно, не было ни жены, ни матери, чтобы взять какую-то часть забот на себя. Были у него только мы, и оба загружены работой, так что учиться он должен был быстро.

Обучение Иосифа вождению было предприятием прямо из “Пнина” – полным риска и комических сюжетов. Можно написать целый эпос о людях, которые возили его на экзамен по вождению (по-моему, письменный он завалил пять раз); он хотел сжульничать, но Карл ему не позволил – потом ему стало стыдно за свое намерение. Бывали весьма эффектные происшествия (однажды он пересек разделительную полосу и поехал по встречной), но все-таки сумел не покалечить ни себя, ни других.

В Энн-Арборе ему стало окончательно ясно, что он больше не увидит своей страны. Там у него остались родители, они были заложниками, и это одна из многих причин, почему он избегал открыто политической деятельности. Он скучал по родным, он привык к своей комнатке, выкроенной из родительской. С другой стороны, он никогда в жизни не чувствовал себя свободнее. (Я узнала его в замечании Беллоу, что только в Америке еврейским сыновьям удается оторваться от родительского дома.)

Двое его детей – Андрей Басманов и Анастасия Кузнецова (дочь балерины Марии Кузнецовой) – не носили его фамилию, для них опасности было меньше. И он не был отрезан от своего ленинградского мира: друзья и ученые привозили им письма, деньги и подарки и доставляли обратно письма и новости. Постоянно кто-то уезжал и приезжал, включая нас, – многие ленинградские друзья навещали его родителей и докладывали о них Иосифу в письмах или по телефону.

Чтобы населить свой мичиганский мир, Иосифу понадобилось примерно полгода – русские нашли его, американские поэты нашли его, заинтересованные старшекурсники и преподаватели нашли его; девушку он нашел сам.

Он почти не бывал один, но испытывал одиночество

человека, окруженного людьми и сознающего при этом, что контекст изменился. Это было одиночество с особым оттенком томления и вместе с тем отвращения – и особенно чувствуется оно в “Колыбельной Трескового мыса”, написанной в 1975 году. Знаю, что чувство одиночества он испытывал и до эмиграции, но перемена обострила его.

Страх, вытянутый из подсознания одиночеством, самым пронзительным образом выразился в “Осеннем крике ястреба”. Прочтя это стихотворение в 1975 году, я поняла, что поэт и есть ястреб, который умирает, потому что слишком высоко взлетел: “Эк куда меня занесло!” – говорит он себе.

Позже в своих интервью Иосиф говорил, что мичиганские годы были его единственным детством. Это печальный комментарий к его настоящему детству, но также и признание того, какой заботой окружили его многие люди, желавшие ему помочь и ценившие его талант. Образовался большой круг людей, с которыми он чувствовал себя непринужденно: с ним быстро подружились редакторы “Ардиса”, некоторые университетские коллеги и студенты.

Новая профессия была для него испытанием: Иосиф никогда не посещал регулярных занятий – на каких-то лекциях и семинарах он, правда, посидел в Ленинграде, но не имел понятия о том, как учить будущих бакалавров, пусть и в Америке. Американская система образования кардинально отличалась от советской – тут не было упора на зубрежку и запоминание, и специализация начиналась только за два года до окончания колледжа. Так что некоторые студенты Иосифа специализировались в других областях, а литературой прежде не занимались. Он считал их глупыми. Это были молодые люди девятнадцати – двадцати лет – и они не привыкли к открытому презрению.

Некоторые студенты жаловались Карлу, что Иосиф читает им английские стихи, а они не понимают ни слова из-за его акцента. При всем этом в большинстве своем они от него не уходили – их привлекала его личность и грела мысль, что у него они могут научиться чему-то особенному. Преподаватель он был неровный: в первые годы он по-настоящему не готовился, полагаясь на то, что знает больше, чем студенты, по крайней мере та горстка поэтов, которых он обучал. Иногда ему попадался толковый старшекурсник, но если студенты начинали чересчур философствовать, он их вышучивал. Если студент давал желаемый ответ, он добрел и бурно радовался.

Благодаря преподаванию и общению со студентами, Иосиф сильно улучшил свой устный английский; если бы он преподавал

по-русски, этого не произошло бы. Карл это хорошо понимал, так же, как и то, что Иосиф должен иметь определенное число студентов, дабы удержаться на работе. Ясно, что такой исключительный человек, как Иосиф, всегда получил бы помощь, но, конечно, ему повезло, что помощь исходила от такого одаренного друга, как Карл, знавшего, как вести дела в университете.

Преподаванием Иосиф зарабатывал на жизнь, но относился к нему не слишком серьезно, особенно вначале – ему странно было очутиться в таком положении. Его выдвигали на разные гранты, и он их получал – от Фонда Гуггенхайма, от Фонда Макартуров, но постоянной его работой с 1972 года и до смерти было преподавание. Он не всегда исполнял ее добросовестно. Сьюзен Сонтаг видела, как он приходил в аудиторию неподготовленным и импровизировал; другие рассказывали, что иногда от него пахло крепкими напитками. Любил он и передернуть: заставлял студентов прочесть слабое стихотворение Йейтса, а потом сильное стихотворение Одена, чтобы показать, кто из них лучше. Обширное знание поэзии и горячая преданность ей выручали его даже в трудных ситуациях. Он являл собой образец того, с чем редко встречались эти студенты, – размышляющего вслух поэтического гения.

Виделись мы с Иосифом ежедневно, обычно за ужином, он выглядел энергичным и жизнерадостным независимо от того, как в это время шли дела. Как всегда, чувство юмора помогало справляться со многими трудностями. Разговор его обычно начинался с идей, а потом быстро соскакивал на сплетни, как это часто бывает с писателями. Иосиф был забавный сплетник, он со смехом пересказывал услышанные истории о нью-йоркских друзьях, например, о драматическом развитии романа двух известных нам писателей – с невероятной пьянкой и выкрикиванием любовных стихов в общественных местах. Ему почти ежедневно сообщали по телефону о таких событиях… Он умел рассказать смешную историю, радостно изумляясь человеческой нелепости.

Чтобы о нем сплетничали, он, конечно, не хотел и в этом был тверд. Однажды он произнес передо мной свою обычную возвышенную речь о поэтах: значение имеют только их стихи и ничто больше. (Это говорил человек, который прочел все, что мог, о других поэтах и их жизни, и любил повторять знаменитую строку о выборе меж совершенством жизни и труда.) Я ответила, что теперь мы хотим абсолютно всё знать о Пушкине, и, если любишь поэта, естественно возникает интерес к его жизни.

Карл договорился о том, что Иосиф напишет длинное эссе для “Нью-Йорк таймс”. Эссе, с размашистыми попытками придать ему значительность и связность, содержало первое печатное изложение кредо поэта: человек изначально зол по природе, и политические движения – просто способ уйти от личной ответственности за происходящее, способ считать себя хорошим, род логического обоснования; перемена должна прийти изнутри, когда человек почувствует стыд и приглядится к себе. В Советском Союзе были все причины не любить политические партии – но американца можно простить, если он спрашивает: почему вопрос стоит “или – или”, почему нельзя быть членом политической группы и при этом хорошим человеком?

Иосиф понимал, что это эссе важно для его будущего, но долго относился к своей прозе несерьезно – отчасти поэтому позволял свои эссе редактировать и переписывать на более правильном английском: это же, как-никак, не поэзия. Но эссе давали возможность развивать свои идеи – этим и были ему интересны. Постепенно он понял, что проза позволяет ему расширить свою аудиторию, приобрести репутацию, но и тогда относился терпимо к редакторской правке, какой не допустил бы в переводах своих стихов.

За первым эссе приблизительно через год там же появилась внушительная статья нашего друга Артура Коэна о Бродском-поэте. Эти два события знаменовали приход Бродского в те литературные круги, которые до сих пор не обращали на него внимания и теперь должны были отнестись к нему серьезно.

Литературное возвышение Иосифа, сравнимое только с возвышением Т. С. Элиота в Лондоне, началось сразу с установлением важных связей в Нью-Йорке. Биография его, конечно, сыграла свою роль, но сама его личность и ум оказались еще важнее. Его ранние эссе, может быть, и не обладали блеском – и связностью – позднейших, хорошо известных, но их интеллектуальная энергия уже тогда поражала. Кстати было и то, что он знал англоязычную поэзию и имел интерес к тому же европейскому материалу, который влек американских писателей. Однако он был врагом авангарда, это была его позиция – и эстетическая, и политическая. В авангарде он видел орудие молодого советского режима. Для него радикальной позицией была традиционная позиция. Во многих отношениях его идеи касательно искусства и литературы казались, на американский взгляд, старомодными, но его личность и страсть придавали им свежесть.

Я вспоминаю, сколько нового для себя пришлось делать этому поэту, и вижу мужество Иосифа, его готовность к испытаниям, его умение собраться. Он быстро обучался и постарался как можно скорее стать от нас независимым. Очень важно было, что мы узнали его в России, иначе многого не смогли бы понять. И так же важно, что он познакомился с довольно обыкновенной американской жизнью и что гидом его оказался Карл. Карл был штатным профессором, издателем и отцом трех сыновей, но находил время, чтобы провести Иосифа через самые трудные испытания в новом для него мире.

Впрочем, у понимания нашего были и границы: Иосиф – первый близкий нам эмигрант из России, мы не предвидели ряда трудностей, с которыми столкнется советский человек в нашей культуре.

Иосиф прибыл как особый человек, в особых обстоятельствах, но он был потрясен почти незаметным положением поэта в Соединенных Штатах. И был полон решимости это исправить. Мы были свидетелями того, с какой правильностью развивался у Бродского этот *roman de réussite*[6]. Агрессивный индивидуализм Иосифа был в прямой оппозиции к деградирующему советскому гуманизму с его торжеством государства над индивидуумом и лицемерным обожествлением рабочего класса. А на Западе у Иосифа появилась возможность выстроить карьеру, что он и сделал с успехом, редким даже у одаренных эмигрантов.

Он быстро понял, кто что-то значит, а кто – нет. Во всяком случае, Карл снабдил его контактами, то же самое сделали Джордж Клайн и, конечно, Оден. Ум и чуткость Иосифа сыграли важнейшую роль в его успехе. Он знал, кого можно заставить подождать, а кого нельзя; умел быть интересным с интересными людьми и по большей части старался не обижать людей влиятельных. Последнее давалось ему трудно – в России он привык прямо говорить то, что думает, но быстро осознал, что в этой новой среде надо лучше себя контролировать. Иногда ему это не удавалось, и нам рассказывали о его оскорбительном высокомерии по отношению к профессорам, пригласившим его выступить у них в университете.

Иосиф принимал почти все предложения написать эссе для серьезного издания, участвовать в литературном мероприятии, выступить со стихами, прочесть лекции. В смысле затраты времени и энергии это само по себе было полноценным трудом, но инстинкты Иосифа – его натура – побуждали его сказать “да”, ко всему приложить руку. Конечно, его биография была ему рекомендацией, и, очутившись в новом месте, он увлекал людей и

обзаводился новыми друзьями.

Карл, которому тогда было всего сорок шесть лет, писал заметки для мемуаров об Иосифе уже перед смертью. В поведении Иосифа со значительными людьми ему виделся элемент карьеризма и мифологизации. С моей точки зрения, Иосиф делал то, что было для него естественно – а естественно для него было завязывать связи и добиваться славы. Русскому интеллигенту открыто признаться, что он желает славы, – почти позор. Но Иосиф и в этом был сам себе законом, как и во многих других отношениях. Если у тебя слава, у тебя есть возможность влиять на культуру; если ты прославился, ты показал Советам, что́ они потеряли.

Иосиф Бродский очень гордился тем, что он поэт, что ему достался этот дар от Бога, и бóльшую часть жизни писание было для него радостью. Не помню, чтобы он пожаловался на затор в работе. Он любил писать в уютных местах, напоминавших его ленинградскую комнату, и, сочинив хорошую строку, тут же хотел ее тебе прочесть. Иногда во время разговора с нами ему приходила на ум удачная строка, и он тут же ее записывал. Сочинение было его стихией, но сочинение и публикация – вещи разные.

Мы, его издатели, удивлялись тому, как трудно заставить его собрать стихотворения в книгу – это напоминало мне истории про Лермонтова. Что-то в нем глубоко противилось тому, чтобы стихотворения превратились в книгу. Обыкновенно кто-то составлял сборник из стихотворений, напечатанных по отдельности в журналах, и тогда в нем просыпался интерес – он менял порядок, писал новые стихи. Если бы Владимир Марамзин не составил пятитомное самиздатское собрание в 1974 году (за что был арестован, и Карл с Иосифом подняли кампанию в его защиту), для русского читателя была бы потеряна значительная часть его ранних произведений. Многие читатели больше всего любили как раз ранние стихи, но Иосиф считал их незрелыми и уничтожил бы, если б смог. Он справедливо полагал, что в его ранних стихах много несовершенств: техническое мастерство не соответствовало замаху, и результат бывал почти бессвязным. Но и в бессвязности этой сказывался талант.

Первые две его книжки в “Ардисе” вышли в 1974 году, когда его друг Лев Лифшиц (впоследствии Лосев) работал в “Ардисе” и сумел вытянуть из него стихи. Иосиф желал руководить оформлением и даже нарисовал льва на скучной серой обложке. Книжки были невзрачные, по общему мнению, и позже, когда я

переделала обложки всех его книг, сделав их единообразными, он был доволен. Впервые в жизни открывшаяся возможность провести свою книгу через все стадии публикации увлекала его. Он помнил, что его друзья поэты на родине ничего не могут опубликовать, тем более книгу, и отчасти испытывал чувство вины оттого, что это далось ему так легко. Дух соревнования был силен в нем, но к друзьям это не относилось; хотя, конечно, никто из них не был ему ровней, и он это понимал.

Его склонность видеть вещи только со своей точки зрения и подгонять действительность под свои представления плохо сказалась на переводах его стихов. Мы с Карлом понимали, что от этих переводов многое зависит, но хороши были только несколько первых, в частности, сделанные Уилбером и Апдайком. Другие – переводы Джорджа Клайна и Карла были квалифицированными, но поэтический голос не всегда в них был слышен. Иосиф желал рифмованных переводов, предпочтительно с сохранением метра; но при переводе с флективного языка на аналитический это невозможно. В России Иосиф сделал много переводов с разных языков с помощью подстрочников и считал себя специалистом.

Переводческие войны тянулись долго и утомительно – по телефону, у нас за столом в Энн-Арборе, а позже в нью-йоркских кафе. Когда вспоминаю эти споры, нападает тоска. Не хотелось бы об этом писать: один раз пережито – и хватит; но поскольку от этого так сильно зависела репутация Иосифа как поэта на английском, писать приходится.

Немногие решились бы на то, чего добивался Иосиф, и мы были в большом смятении. Дерзость и уверенность сопутствовали ему на жизненном пути, но тут эти превосходные качества оказались на службе у гордыни, если не помрачения. Многие, многие поэты и литературоведы говорили Иосифу, что его стих пострадает от рифмованного перевода, что строй поэтической мысли будет искажаться в угоду рифме и т. д.

Английский язык, звучавший в голове у Иосифа, имел русскую интонацию. Американцы говорили ему, что у него очень хороший английский, но никто никогда не сказал, что у него нет акцента. (Вообще он недопонимал американскую вежливость: например, ему было невдомек, что, если человек молчит, это необязательно знак согласия.) Поселившись в Энн-Арборе, он пришел к выводу, что у американцев нет сленга. Иосиф, объясняла я ему, все мы разговариваем с тобой на нормальном английском, чтобы тебе было понятно. Если бы мы говорили на

сленге, ты бы не понял, мы это знаем.

Он совершенствовался в английском с фантастической быстротой, принялся изучать словари рифм и словари сленга. Но – и в этом нет ничего странного – он не чувствовал уместности слова во всей полноте его нормального и исторического употребления – он был ограничен тем, что в качестве примеров давал словарь.

С самого начала Иосиф стал в позицию литературного Кортеса: он заявлял, что слабость современных американских поэтов в том, что многие из них отказались от рифмы, а отказались они потому, что не умеют найти новых рифм. Других объяснений он не признавал: писать стихи без рифм – все равно что играть в теннис без сетки. Он будет переводить себя и покажет, как это делается.

В переводе для Иосифа было что-то мистическое. Он поглотил много литературы в переводах, но читателем был весьма необычным. Он не раз говорил, что, прочтя первые строки стихотворения в оригинале, может угадать, как оно кончится. Известны его слова, что Кавафис *выиграл* в переводе – но как можно сказать такое, не зная греческого?

Это говорил человек, которому Карл, а потом другие поправляли английское правописание и грамматику перед тем, как отдать что бы то ни было редактору. И тем не менее он, не колеблясь, взялся переводить себя. Все близкие люди – многие были поэтами – отговаривали его, особенно когда он показывал первые свои пробы.

В этот период сражение Набокова с Уилсоном из-за набоковского очень буквального перевода “Евгения Онегина” достигло ожесточенности, кажется, не виданной со времен дела Дрейфуса. Карл был в целом на стороне Набокова, но понимал, что набоковский перевод не может существовать сам по себе: комментарий был необходимой частью труда. Вынести такую дотошность способны были редкие читатели – и издатели.

Я занимала промежуточную позицию: я не хочу, чтобы произвольно подменялись метафоры, хочу видеть, например, как развивается образность в “Нашедшем подкову” у Мандельштама, но если сохраните мне рифму и размер в придачу, – дай вам Бог Боллингеновскую премию. Но главное для меня – знать, *что* сказал поэт.

Литераторы и переводчики, мы сами понимали, что переводчик не может воспроизвести всю музыку оригинала. Задача – достичь терпимого состояния неудовлетворенности… Например, в переводе “Письма изгнанника” Ли Бо Паунд позволил себе чрезмерные вольности. В приглушенный колорит

китайского стихотворения он вставил броское слово “вермильон”, и те, кто читал его на английском, только это и запомнили из стихотворения.

Иосифа это совсем не смущало. Он жертвовал многим ради размера и рифмы, и, будь он двуязычным, у него могло бы получиться. Но он не только не был двуязычным, он не чувствовал акцентов и тона английских фраз, и поэтому даже технически правильные стихи звучали как вирши. Сложносочиненные предложения иногда не складывались в нечто осмысленное; по-русски это прошло бы, на английском – нет.

Иосифу очень хотелось, чтобы другие первостепенные поэты – его ровня – увидели, каковы на самом деле его стихи, и усердно трудился ради этого…

Со временем он стал переводить свои стихи лучше, но до того уже успел разочаровать серьезных читателей поэзии. Мои друзья – американские поэты и русисты – бывало, звонили мне и садистически зачитывали последний автоперевод Бродского (или оригинальное английское стихотворение), и я устала защищаться, убеждая их, что он замечательный русский поэт.

Спрашивают, почему, пока он не умер, его переводы не подвергались серьезной критике. Ответ: Иосиф был и влиятелен, и мстителен, и кое-кто опасался, что честная оценка ему может дорого обойтись. Что до друзей, поэтов и непоэтов, они любили его и не хотели обижать. Иногда репутация затмевает реальность: Иосиф бывал чудесным собеседником, он с подлинной серьезностью относился к культуре и прекрасно знал поэзию. Мог ли такой человек не быть отличным переводчиком собственных стихов? Кроме того – и это непременно надо иметь в виду, когда речь идет об Иосифе, – биография поэта, преследуемого тоталитарным государством, обеспечивала ему неприкосновенность в нормальном литературном процессе, по крайней мере в печати.

Иосиф взялся за перевод своих стихов довольно рано, но по прошествии лет стал сочинять на английском. Причины тому были сложные, и я знаю лишь некоторые из них. В своем трогательном эссе о родителях в книге “Меньше единицы” он объяснял, что пишет о них по-английски, ибо хочет “даровать им резерв свободы”, а писать о них по-русски значило бы содействовать их неволе. Отчасти по этой же причине на выступлениях в Бостоне он читал свои стихи по-английски, хотя аудитория была по большей части русская. Кроме того, теперь среди близких друзей Иосифа были выдающиеся англоязычные поэты, и он хотел принадлежать к этому цеху. В одном интервью он отрицал, что хочет стать американским поэтом, но я,

оглядываясь назад, понимаю, что он именно к этому стремился – и отчасти из-за ощущения, что он отвергнут родной культурой.

И в жизни, и в произведениях Иосиф говорил о чувстве вины и об отвращении к себе, но никогда это не относилось к его дару – самому главному факту в его существовании. Я воспринимала этот дар как природную силу и, в сущности, не задумывалась о соотношении его творчества с его личностью, пока однажды вечером мы оба не занялись глупостями.

Это было в 1973 году, поздним вечером, уже после того, как мы перевезли семью и издательство в старый загородный клуб, достаточно просторный дом, где могли поместиться книги нашего разрастающегося “Ардиса”. Мы с Иосифом вдвоем сидели за столом. Дети оставили на столе две манжеты от игрушечного детектора лжи. Это было примитивное устройство, измерявшее изменения кровяного давления, но Иосиф заинтересовался. Давай их попробуем, сказал он. Он надел на меня манжеты и с торжествующим видом спросил, практикую ли я определенные занятия сексом в одиночку. Я сказала: да; стрелка подпрыгнула до середины.

Такого вопроса я не ожидала, но над своим мне не надо было даже задумываться. Я надела на него манжеты и спросила:

– Ты считаешь себя великим поэтом?

– Да, – говорит он. И заливается краской, а стрелка прыгает почти к краю шкалы. И эта краска подкупает больше всего.

Тогда-то мне и следовало все понять: почему он губит себя курением, почему не желает заботиться о своем теле, – но не поняла. Я была еще молода, думала, что люди могут измениться, когда на кону их жизнь.

Он работал в морге, он знал, как выглядит смерть, и страшился ее, даже испытывал ужас. В стихотворениях он рисует человека, невозмутимого перед лицом смерти, которая ждет всех нас, но жил он не так. И, тем не менее, не желал себя беречь.

Сейчас, когда пишу это, вспоминается поразительный эпизод, случившийся в Энн-Арборе. В январе 1980 года мы позвали Иосифа на фильм “Весь этот джаз” Фосси. Кино на него сильно действовало, он вообще остро реагировал на все визуальное и эмоциональное. Герой фильма – хореограф, не щадящий своего здоровья, бабник, который сжигает себя на работе и беспрерывно курит, несмотря на предостережения, что у него плохое сердце. В центре этого серьезного мюзикла – весьма реалистически снятая операция на открытом сердце, подобная той, которую перенес сам Иосиф. Во время этой сцены я посмотрела на Иосифа – он сидел,

схватившись за края кресла.

После он сказал только:

– Это было очень интересное и личное переживание.

Позже, намного позже, когда ему второй раз сделали шунтирование, я в сердцах спросила его, почему он продолжает курить, ведь это самоубийство. Он ответил: если не курю, не могу писать.

Муза и адресат

Сказать, что у Иосифа были сложности с женщинами, было бы литотой. Женщины были развлечением и спортом, безусловно, но иногда брезжило и обещание любви. Он был невозможен, как только может быть невозможен мужчина в отношении любви и секса, и не считал, что соблазнение влечет за собой ответственность. Когда женщина его привлекала, он жил моментом и готов был сказать или сделать все, чтобы ее соблазнить; иногда, может быть, даже сам верил в то, что говорит, – хотя не думаю. Для начала обычно надо было вызвать сочувствие к его трагическому положению: тюрьма, ссылка, жена и ребенок остались в другой стране. Некоторым женщинам этого горячего интереса со стороны блестящего, обаятельного мужчины было достаточно. Одна из них мне сказала: “Что я могла поделать? Он так этого хотел”.

Он был ревнивым собственником и при этом лишенным трезвости. Он мог оставить женщину на полгода, а вернувшись, удивляться, что она за это время успела выйти замуж. Изображалось это так, что его отвергли.

В его глазах любая привлекательная женщина, даже жена приятеля, была желанной добычей. А в основе была идея, что правит всем эстетика, что творчество связано с сексуальностью, и к тому же эротика – противоядие от страха смерти и т. д. Все это вполне в характере литературной богемы, но есть еще громадное, пригодное для жатвы поле старшекурсниц. На его взгляд, девушки знают, на что они идут, – а если не знают, самое время узнать.

Здесь сказывалась светская, циничная, безжалостная сторона его натуры. Он весело осуждал женатых приятелей за романы на стороне – при том что сам соблазнял замужних женщин. Он был романтически беспечен. Однажды, вернувшись из Рима, он дал мне короткую комическую сводку: вот я в частном саду, и за мной гоняется князь, потому что я был с княгиней…

Были женщины на день, на месяц или на год. Но в его стихах присутствует только одна женщина. Марина Басманова была похожа на шведскую актрису, которая запала в душу отрока Иосифа. Марина, художница из эксцентрической семьи художников, была таким же трудным человеком, как он.

Они были очень молоды, и роман изобиловал разрывами и примирениями. Когда он был в ссылке, Марина завела роман с его другом, объяснив, что с Иосифом у нее все кончено. Иосиф услышал об этом сразу и почти лишился рассудка. Он сказал мне, что в тот тяжелый период его гораздо больше беспокоили эти любовные проблемы, чем тюремные дела. Я ему верю, потому что, несмотря на могучий интеллект, правили им чувства. Марина забеременела, родила и рассталась с Иосифом окончательно. В некоторых отношениях Иосиф был устроен ортодоксально и, думаю, не мог себе представить, что она поступит так, когда у них родился ребенок. (Однажды он дал мне понять, что имел в виду удержать ее, сделав ей ребенка. Не знаю, правда ли, но в одном его стихотворении есть строка, намекающая на это.) Он несомненно был человеком, особенно ценящим то, в чем ему отказано, и власть Марины была сильнее всего, когда она проявляла свою независимость.

Однажды, когда Марина порвала с ним, он порезал себе запястье, но потом одумался и целый день бродил, держа в кармане руку с окровавленной повязкой. Возможно, для человека такого склада, как он, после первой любви другой уже не бывает. Позже он отзывался об этом периоде как о “мелодраме”, но у меня больше сочувствия к сокрушенному молодому поэту, чем было у него. Он чувствовал, что эта женщина – его судьба, и потерять ее – значит лишиться самой любви.

Марина странная, говорил Иосиф, он это понимал; но он сам ощущал себя странным и поэтому думал, что они пара. Эта женщина – или идея ее – оставила свой отпечаток на всей его жизни: его искусство движимо чувством потери и тоскливого желания. Она училась живописи, как Лиля Брик и Надежда Мандельштам, – и мыслила независимо. Иосиф не мог подчинить своему влиянию эту сложную и непредсказуемую натуру. Она охраняла свою тайну, не уступала его желанию управлять и от этого становилась для него еще важнее. Получиться из этого

ничего не могло при его склонности к изменам, но идея счастливой любви, может быть, преследовала его неотступно.

Я не согласна со многими, кто считает, что всему виной Марина. Когда я думаю о том, насколько ревнив был Иосиф и насколько остро воспринимал то, что его отвергли, хочется представить себе его детство, когда мать принадлежала ему целиком, а отец был сначала на войне, после чего служил в Китае. Отец оставил его, когда ему было два года, и вернулся только через шесть лет. Возможно, после возвращения отца Иосиф переживал частичную утрату материнской любви. Сын уже не был единственным предметом заботы у Марии Моисеевны, а отец, военный человек, стал прививать мальчику дисциплину.

Марина Басманова была не только его музой в том смысле, что почти тридцать лет вдохновляла его поэзию, – она была еще и адресатом. Я часто ощущала, что она присутствует в его мыслях, даже если стихотворение было посвящено кому-нибудь другому. Она часто была воображаемым читателем и знала об этом; как выяснится, она внимательно читала его стихи, когда его давно уже не было в Ленинграде.

В первые годы нашей дружбы Иосиф часто заговаривал о Марине. В 1971-м, накануне Нового года, Карл спросил Иосифа, чего самого важного он не знает (вопрос совершенно в духе Карла).

Сначала Иосиф отшутился:

– Когда будет Второе пришествие.

Второй ответ был честным:

– Где сейчас моя первая жена… Но почему это меня до сих пор занимает – вот где загадка.

Года через два или три в Энн-Арборе Иосиф заговорил со мной о том, почему она с ним не осталась. Он очень старался быть объективным и не валить все в кучу, но эмоции взяли верх.

– Она сказала мне, что я насилую ее мозг, – растерянно признался он.

Я понимала, что она имеет в виду. Иосиф был необыкновенно категоричен в своих мнениях, и порой это тебя сминало. Он вовсе к этому не стремился, но так иногда получалось, особенно если впадал в азарт. А по его рассказам, Марина – человек тишины, ее подавляла сила его личности, шум его речи.

Марина сама иногда связывалась с Иосифом и, как говорили, читала его письма с большим интересом: мне казалось, что между этими двоими всегда что-то сохранится.

Иосиф очень постарался восстановить нас против Марины и в

то же время хотел, чтобы мы ею восхищались, говорил, что она замечательная художница. В одном его стихотворении сказано, что она научила его видеть.

Бывало, Иосиф увлекался благородными женщинами, которым требуется верность. Когда наступали неизбежные тягостные четверть часа, он удивлялся и недоумевал: почему они смотрят на жизнь не так, как он. Эти женщины – Маринина порода – были и умны, и красивы, и он не мог или не старался их удержать.

Мне казалось, что настоящими причинами были в этих случаях его эмоциональная клаустрофобия и чувство, что он все еще женат на Марине – пока она сама не вышла замуж. Он следил за ней издали, ему докладывали разные люди из Ленинграда, понимавшие, что он хочет сведений не только о сыне, но и о матери своего сына.

Много лет она – или идея ее – имела над ним фантастическую власть, и иллюстрацией этого, мне кажется, может служить следующая история, описанная Карлом в его заметках. История – как будто из жизни Скотта Фицджеральда.

Однажды вечером в октябре 1981 года мне позвонил Иосиф и сказал, что хочет попробовать жениться! Иосиф был на какой-то важной политической конференции в Канаде и там, 48 часов назад, увидел женщину, точную копию Марины. Он был ошеломлен. Когда она шла к нему в отеле, он подумал, что это сон, – настолько сильным было впечатление реинкарнации. Оказалось, она журналистка, голландка, частично еврейка и хочет взять у него интервью для голландского радио.

Он включил все свое обаяние, и, хотя кое в чем было несоответствие, он ее убедил. Я спросил его, сделал ли он предложение, и он ответил: “Я высказал идею. Она не была ужасно против”.

Но она уезжала обратно в Голландию, и он собирался за ней.

“Это может произойти, а может – нет”, – сказал он. Он признался ей, почему она его так привлекла? Нет, не признался. Он только твердил: “Карл, ну не странно ли? Кажется, я немного сошел с ума”. Я мог только пожелать ему удачи и рекомендовать осторожность. Он поступал нерационально и понимал это. Он поехал за двойником Марины в Голландию, добился ее благосклонности, как говорили в старину, но столкнулся там с целым рядом мелких и не очень мелких кошмаров, начиная от отвратительных (в его понимании) левых взглядов в политике и искусстве и до прежнего и еще действующего любовника (детали вполне гармонировали с общим сюжетом). По прошествии недолгого времени стало понятно, что брак вряд ли состоится, но

Иосифу очень не хотелось расстаться с этой мыслью, и вернулся он изнуренным и злым и, тем не менее, все еще очарованным. Думаю, скорее идеей с Мариной в сердцевине ее, чем реальностью. Эта история показывает, какую невероятную власть имела над Иосифом даже идея Марины (и как он верил, что один человек может заместить другого). Это стоит иметь в виду всякому, кто возьмется анализировать его книги.

За несколько лет мы напечатали все главные книги стихов Иосифа и, конечно, заметили, что многие стихотворения связаны с Мариной. Только в 1983 году, когда мы готовили русское издание “Новых стансов к Августе” (сборник стихотворений, посвященных и адресованных Марине), вырисовался масштаб будущей книги – думаю, и ему он только тогда стал виден. В сборник вошли и стихи, посвященные другим любимым, – поэт спокойно объяснил, что “на самом деле” они написаны о Марине или для нее.

Название “Новые стансы к Августе” мне казалось непонятным. Стихи Байрона к сестре трогательны – в Августе он видит единственную любящую душу, когда вокруг поэта кипит скандал, вынудивший его покинуть Англию. И здесь опять-таки для русского поэта ориентир – поэт англоязычный, самый знаменитый из всех. Но место Марины в его жизни ближе к тому, какое занимала в жизни Байрона жена, после года брака отвергнувшая его как сумасшедшего и забравшая дочь, которой он больше никогда не увидел. Байрон написал о жене несколько стихотворений; там есть мотивы, родственные стихам Иосифа.

Сами “Новые стансы” были написаны в сентябре 1964 года в ссылке в Норенской, и теперь он увидел, что многие стихотворения из разных периодов укладываются в цикл, образуя некий роман в стихах.

Когда “Новые стансы к Августе” вышли в свет, Иосиф позвонил и сказал Карлу, что Марина, долго не дававшая о себе знать, сейчас позвонила ему, чтобы обсудить книгу. Разговор был долгий и цивилизованный, и она сказала, что ей нравится в этой посвященной ей книге, а что – нет.

Карл был изумлен: “Думаю, – написал он, – в мировой литературе было мало случаев, когда Муза, в особенности такая трудная, вдруг материализовалась подобным образом, чтобы вознаградить воспевшего ее поэта”.

Самый старый современный город

Когда Иосиф жил уже в маленькой квартире на Мортон-стрит,

в Гринич-Виллидже, он проснулся однажды ночью: в спальне стоял вор.

– Ты кто? – спросил Иосиф.

– А ты кто?

– Я просто русский поэт.

И вор сразу ушел.

Иосиф позвонил нам на другой день, все еще ошеломленный, но веселый. Не помню, в каком году это было, наверное, в первые его годы в Нью-Йорке.

Интересно, что в стихах Иосифа мало упоминаний о его жизни в Энн-Арборе, где он провел девять лет, и о Нью-Йорке, который стал ему домом до конца жизни. Он любил Англию, любил Италию, любил Польшу, любил много мест, где ему довелось побывать, и мог получить постоянную работу в любом из них, но оставался в Нью-Йорке – отчасти потому, что только США были анти-Советским Союзом, который ему требовался, но в большой степени из-за того, как можно затеряться и найтись в Манхэттене. Сейчас ты, знаменитый поэт, приходишь в ПЕН (я сопровождала его во время одного из таких визитов, и от мужской конкуренции по стенам тек тестостерон), а через час ты безымянный некто в толпе. Энн-Арбор был маленький город; Ленинград – большой город; Нью-Йорк же был целым неохватным миром.

Время от времени Иосиф преподавал в Нью-Йорке, но ньюйоркцем я его числю с 1977 года, когда он снял квартиру на Мортон-стрит. Некоторых жильцов этого маленького дома он уже знал, а владельцем дома был Эндрю Блейн, профессор русской истории. Это был приветливый мир, избавлявший от одиночества – когда ты этого хотел.

В 1981 году он получил место профессора в “Пяти колледжах” (“Маунт-Холиок” и др.) и прожил семестр в Саут-Хедли.

Нью-Йорк ему подходил: городской мальчик, он любил его. Из того, что мог предоставить город, он не всем пользовался: теоретически его интересовали концерты, выставки, кино и театры, но он редко посещал их по своей инициативе. Музыка, думаю, была для него чем-то очень личным, и он предпочитал слушать записи, а не сидеть в зале с незнакомыми людьми. В городе огромное количество времени уходило на встречи с друзьями и на свидания. Когда он преподавал в Саут-Хедли, жизнь была не такой раздерганной, и, вероятно, там он писал больше, хотя помню, что иногда он просиживал целую ночь в Нью-Йорке, чтобы закончить работу в трижды отложенный срок.

Нью-Йорк и слава – коварная комбинация. Он не сразу нашел

к ней ключ. Сначала ключом для него был Оден. Иногда казалось, он подражает Одену – и в речи, и в жестах. Он всегда был внимателен к своей одежде, никогда не выбирал ее как попало, и, когда я встретилась с ним за обедом в Виллидже в первые годы его нью-йоркской жизни, на нем был потрепанный твидовый пиджак, весь в пятнах и дырках. Я поняла, что это дань Одену, попытка выглядеть скромным. Я сказала ему, что он слишком далеко зашел в профессиональном равнодушии к наряду и выглядит как бездомный. Он скорчил гримасу, но при следующей нашей встрече выглядел нормально. Правда, отплатил мне той же монетой: сказал, что выгляжу жительницей Среднего Запада – понятно, не комплимент.

Здесь, в противостоящей империи, он был не только принят, он был влиятелен, он стал частью истеблишмента. Это имело и некоторые неприятные для него последствия: русские – и эмигранты, и из Советского Союза – просили его помочь напечататься. Он старался быть отзывчивым и щедрым, но в конце концов устал от просьб. Эти люди не понимают моей здешней жизни, говорил он – и справедливо. Старых друзей обижали его покровительственные замечания; он вел себя так, словно был выше своего окружения. Следуя своим принципам, он соглашался писать предисловия к книгам друзей, а потом жаловался, что его вынудили. Я думала: интересно, что он о нас говорит в таком настроении.

В Советском Союзе о Бродском знал только небольшой круг литературных людей. Теперь он обладал властью, и ему стоило изрядных трудов найти равновесие. Иногда Иосиф бывал напыщен, почти как Гор Видал (метр-эталон в этом отношении). Он мог произнести: “наша скромная персона”, и никакое количество иронии не могло этого разбавить. Мы были очень заняты издательством, писанием и преподаванием – не говоря уже о поездках в Россию, – а он хотел, чтобы у нас в друзьях были более знаменитые люди, говоря, что наши чересчур заурядны. Это было не очень справедливо, но я понимала, что он просто хочет подтянуть нас до своего уровня славы…

Однажды мы были на конференции в Чикаго со Стивеном Спендером, и мне пришлось наблюдать, как ведет себя Иосиф с человеком, который для него действительно важен. Видеть это было больно: он не был собой, ему надо было что-то изображать. Спендер, красивый старик, вел себя изящно, но мы удивлялись, что Иосиф все еще так скован с ним.

Наш дом и наша компания стали частью его мира, и он

распоряжался этим, как считал нужным. Когда Маша Слоним с сыном приехали в Нью-Йорк, он, видя, что им надо где-то поселиться, послал их к нам. Мы знали Машу еще по Москве и любили, так что тут никакого отягощения не было. С другими людьми, которых он присылал, бывало не так удачно (“Карл, – говорил он, – я у вас никогда ничего не просил, но, пожалуйста, возьмите этого человека на работу”), и обычно Карлу удавалось устроить их в магистратуру, и некоторые становились преподавателями.

Иосиф часто приезжал в Энн-Арбор, иногда с нью-йоркскими друзьями, например с Михаилом Барышниковым, совершенно очаровательным человеком и близким другом Иосифа. Иосиф знал, что Барышников его понимает, и чувствовал себя с ним непринужденно. Миша был невероятно знаменит, ему ничего не нужно было от Иосифа. Как артист Барышников сложился в Ленинграде, а теперь принадлежал к балетному истеблишменту Нью-Йорка. И мне казалось, что они хорошо понимают друг друга.

Еще бывал у нас их общий друг Геннадий Шмаков, с ним мы тоже познакомились еще в Ленинграде. В Гене, как все его звали, замечательно совместились разные таланты: у него была степень по классике, он был специалистом по балету и по литературе. Он хорошо знал Иосифа и говорил мне, что в ранних произведениях Иосиф, случалось, путал детали мифов, но для него, Гены, главным был сам поток слов.

Иосиф приводил милых, образованных, воспитанных женщин. Я помню милую блондинку, поэтессу Линду Грегг, и профессора Барбару Спраул, высокую, темноволосую, – чета любому. Иосиф и Барбара только что вернулись из Мексики.

– Как вам понравилась Мексика? – спросили Барбару.

– Я не столько видела Мексику, сколько *Иосифа* в Мексике, – сказала она шутливо, как человек, понимающий писателей.

Иосиф дал нам ясно понять, что эти отношения, как и другие, были романтическими.

Но когда Иосиф привел в дом Сьюзен Сонтаг, он первым делом сказал мне по-русски: “Это не те вещи”, что означало: это дружба и ничего больше. Впоследствии отношения могли измениться, но он никогда об этом не говорил. Первый сердечный приступ в Нью-Йорке произошел у Иосифа в тот день, когда он помогал ей с переездом. Мачо, как всегда, он таскал вверх по лестнице тяжелые коробки, хотя здоровье этого не позволяло.

Сьюзен, высокая, красивая и знаменитая, была определенно в его вкусе. О ее рассказах он отзывался пренебрежительно, как типичный нью-йоркский литератор. “Эллендея, я не понимаю,

зачем она их пишет", – сказал он с таким же огорчением, с каким мы сами говорили о его переводах. Что они потянутся друг к другу, было предсказуемо: оба обожали европейскую культуру (не будучи европейцами – важно отметить) и литературу идей. Конечно, они смотрели на интеллектуальную Европу с разных точек зрения. Сонтаг, отнюдь не враг авангарда, имела представление обо всем спектре американской культуры; Иосиф – нет. Кроме того, все книги, о которых она говорила, она прочла от корки до корки.

Любовь Иосифа к европейской культуре (исключая Францию) не только была естественной для петербуржца, она была составляющей продолжающегося русского спора между славянофилами (Солженицын) и западниками (Пушкин, Мандельштам). Поэтому для русского читателя, особенно не путешествовавшего, его стихи нагружены дополнительным смыслом. Поэт, так сказать, путешествовал за своих читателей. В этом историческом споре, должна ли Россия идти своим "органическим" путем или быть частью Европы, не учитывается опыт Соединенных Штатов с их едва ли не устрашающим синкретизмом позиций и обычаев. Что касается Азии, за исключением нескольких многовековой давности литературных фигур, она представлялась ему однообразной массой фатализма. Всякий раз, говоря о количестве народа, истребленного при Сталине, он полагал, что советский народ занял первое место на олимпиаде страданий; Китая не существовало. Западнику азиатская ментальность была враждебна.

Иосиф оказал влияние на небольшую прослойку интеллектуалов, упрямо продолжавших видеть в коммунизме положительную перспективу для человечества. Большинство левых интеллектуалов разочаровались в нем после пакта между Гитлером и Сталиным, а позже подавление венгерского восстания и вторжение в Чехословакию укрепило людей в неприятии коммунизма. И все же сохранялось представление у чувствительных и мыслящих людей, что капитализм жесток и русская революция не во всем была плоха. В этом вопросе нюансы Иосифа не интересовали; он был убедителен, когда говорил о своем отвращении к силе, поработившей его страну, и всех марксистов считал агентами этой силы.

Как всякая тоталитарная система, советская требовала не просто послушания, а соучастия; Иосиф решительно ей в этом отказывал. В Америке измена себе может принять другую форму. Например, Иосиф оправдывал генералов-убийц в Аргентине на

том основании, что страной могла завладеть коммунистическая партия и благо большинства перевешивает смерть немногих. Эта позиция говорила о непонимании конкретики, стоящей за обобщениями. Если бы он провел какое-то время с Якобо Тимерманом, как Карл и я, он несомненно осознал бы проблематичность борьбы со злом при помощи зла. У аргентинца, автора книги “Заключенный без имени, камера без номера”, которого пытала и держала в тюрьме хунта (за то, что стал публиковать в своей газете имена “исчезнувших”), было много общего с русским поэтом.

Из-за своего предубеждения против всего, что представлялось ему антиамериканским в политике, Иосиф не воспринимал наших нонконформистов, многому противившихся и непослушных. Поскольку все укладывалось в схему: “если это против Советов, я за это”, Иосиф даже не понимал, сколько у него общего с американскими скептиками.

Поскольку истеблишмент был антисоветский, Иосифа он, по-видимому, привлекал – и политический, и литературный. Он с удовольствием пошел на ужин к Бушу-старшему в Белый дом; ему нравилась близость к власти.

Американским поэтам этот русский был симпатичен по многим причинам – не в последнюю очередь из-за его убеждения, что быть поэтом – высшее призвание на земле. Он жил так и проповедовал это, и американским поэтам, ощущавшим узость своей аудитории, а иногда – и вовсе затерявшимся в лабиринте университетской жизни, его страсть придавала сил. Из поэтов он восхищался Ричардом Уилбером, а с Энтони Хектом, Дереком Уолкоттом и Шеймусом Хинни его связывала самая теплая дружба.

Влияние было обоюдным: Иосифа просвещали и меняли эти блестящие люди. Он стал одобрительно отзываться о таких литераторах, которых прежде не считал важными, например, об Элизабет Бишоп, Симоне Вейль, Вальтере Беньямине, и читать писателей, о которых иначе бы не узнал.

Иосиф вращался в разных кругах, очаровывал, завязывал дружбу с другими писателями, людьми из мира моды, с балетными и, конечно, с издателями. Он гордился своими отношениями со знаменитостями; если мы тоже встречались с такими людьми, он ревниво старался показать, что знает их лучше, – обычно так оно и было. Мы научились не говорить о знаменитых людях, с которыми виделись в России, – его это как-то огорчало.

Если была такая группа людей, к которой Иосиф относился резко отрицательно, то это были тогдашние литературные звезды,

в особенности Евтушенко, Ахмадулина и Вознесенский. В России эти люди были невероятно знамениты – их читали, их обожали, их, в отличие от него, все знали. Поэт в России – сродни законодателю, фигура чуть ли не священная. Слава этих поэтов приводила Иосифа в ярость. Вполне можно предположить, что он завидовал, хотел быть так же знаменит на родине, но враждебность его проистекала также из убеждения, что они политические марионетки. Несмотря на это, после освобождения он соглашался выступать с этими звездами: приглашение давало какую-то защиту. Но благодарности он не чувствовал.

Он считал, что хорошо понимает большинство людей, а понять – значит простить. Но эти знаменитости прощения не удостаивались.

Так, летом 1977 года Иосиф позвонил Карлу и удрученно сообщил, что “Вог” заказал ему статью о Белле Ахмадулиной, которая приехала в Нью-Йорк. Он проклинал себя за то, что согласился, и сказал, что не мог отказаться от денег. Но, по мнению Карла, отказаться он не мог от того, чтобы его имя появилось в “Воге” (на литературные материалы в “Воге” обращали внимание, они пользовались определенным престижем). Я не вполне в этом уверена. Иосифу вообще было трудно сказать “нет” (отсюда его противоречивые обещания издателям, нам в том числе).

Беллу Ахмадулину, прекрасного поэта и очень порядочного человека, мы знали и любили, и тяжело было слушать, как Иосиф ругает ее, даже несколько истерично. Ни в каких компромиссах она не была повинна, единственный ее грех, помимо славы, – то, что она бывшая жена Евтушенко. Поскольку Иосиф рассматривал каждый случай как этическое испытание, вставал очевидный вопрос: зачем он о ней пишет? Ему было с собой неуютно.

В трудных случаях Карл умел рассмотреть ситуацию с другой стороны, так, чтобы Иосиф мог счесть оправданной перемену своей позиции. Но на этот раз Карл сказал очень мало – он был слишком рассержен.

После встречи с Беллой Иосиф позвонил и сообщил нам нечто неожиданное: он сам не мог устоять перед ее обаянием.

– Не понимаю, что со мной произошло, – сказал он.

Думаю, на него произвела впечатление личность Ахмадулиной, ее стихийность и сдержанность, и, когда он встретился с ней, внутреннее сопротивление исчезло.

Статья в “Воге” была, разумеется, очень лестной, и он ею не гордился. Как выяснилось, Белла была наслышана о том, что он на самом деле думает о ее поэзии, но это никак не повлияло на ее высокую оценку его поэзии. Она была из тех людей, кто не

говорит о других дурно, хотя точно знает, как они отзывались о ней.

Мысль, что вне советской системы можно пойти на компромисс со своей совестью, Иосифу не приходила в голову, и то, как он поступил со своим приятелем Василием Аксеновым, стало причиной одного из самых серьезных наших с ним разногласий.

Аксенов, сын Евгении Гинзбург (написавшей знаменитую книгу о своих странствиях по сталинским лагерям), был самым популярным прозаиком того периода. Его книги расходились за считанные часы, и впечатление на современников производили такое же сильное, как в свое время “Манхэттен” Дос Пассоса или “Над пропастью во ржи” Сэлинджера. Аксенов был великодушен по отношению к другим писателям и терпим к их причудам. Он был на восемь лет старше Иосифа, и взгляд на мир у него был значительно шире.

После суда он оказывал Иосифу разную помощь, пытался помочь ему напечататься, приобрести хоть какой-то официальный статус, который мог бы защитить его в будущем. Приятельские отношения сохранились у них и на Западе. В 1975 году Аксенова пригласили в Америку преподавать, и у них была серия совместных выступлений. Во время этой поездки они остановились у нас в Энн-Арборе.

В 1980 году, после истории с “Метрополем” (в результате которой нам запретили въезд в СССР) и итальянской публикации самого антисоветского произведения Аксенова, романа “Ожог”, Аксенов снова приехал в США, и его спешно лишили советского гражданства. В эмиграции его и жену ожидала такая же бедность, как всех остальных, – необходимо было печататься, и Карл считал, что он должен преподавать – хотя Аксенов никогда этим не занимался. В Энн-Арбор он приехал, когда мы готовили издание “Ожога” на русском. Мы были уверены, что он быстро найдет издателя на английском.

В это время Иосиф был в Нью-Йорке, и однажды кто-то в издательстве “Фаррар, Страус энд Жиру” попросил его прочесть рукопись аксеновского романа и дать отзыв. Через несколько дней Иосиф позвонил Карлу и похвастался, что сделал для них доброе дело. (Я работала в кабинете Карла и слышала его часть диалога.)

– Я сказал им, что роман говно, – с гордостью сообщил Иосиф.

Тут Карл, всегда старавшийся отнестись с пониманием к поэтическим завихрениям, не выдержал и отчитал Иосифа. Иосиф, рассерженный и в недоумении, спросил, как ему надо

было поступить.

Карл сказал, что он должен был отказаться, сославшись на то, что Аксенов его друг. Иосиф стал оправдываться. Не такой уж близкий друг, книга плохая и т. д.

Карл, прекрасно помня, скольким второсортным авторам Иосиф писал отзывы для обложки и помогал издаться, не захотел заканчивать разговор на любезной ноте.

– Я должен сказать об этом Васе, – сказал Карл. – Вы разрушаете ему карьеру, а он об этом не знает – он думает, что вы друг.

– Иосиф как будто не понял, что он сделал, как это было нечестно, – сказал мне Карл.

А я ответила:

– Так ему удобнее.

Это был критический момент в нашей дружбе с Иосифом: он вполне мог разозлиться на Карла, и это было бы очень печально – мы столько друг для друга значили. Но Карл не испытывал сожалений.

Он позвонил Аксенову на другой день. Вася был расстроен, и, как он сказал мне позже, до него доходили слухи о высказываниях Иосифа в Нью-Йорке, но ему не хотелось им верить. А еще позже Аксенов сказал мне, что в конце концов он сам позвонил Иосифу и поговорил с ним начистоту. Сказал ему что-то в таком роде: сиди на своем троне, украшай свои стихи отсылками к античности, но нас оставь в покое. Ты не обязан нас любить, но не вреди нам, не притворяйся нашим другом.

Только через четыре года “Рэндом хаус” опубликовал роман Аксенова на английском.

Я много думала о таком отношении Иосифа к знаменитым советским писателям, потому что сам он в этом вопросе был совершенно глух. Обычно он спохватывался, что ведет себя недоброжелательно, и напоминал себе, что надо быть милосерднее, но в отношении таких людей – никогда. Может быть, эти звезды олицетворяли в его глазах Советский Союз. Подозрение в продажности могло распространяться даже на таких людей, как замечательный певец и автор песен Владимир Высоцкий.

Было что-то нутряное, иррациональное в этом неприятии знаменитостей, которые пытались ему помогать. Можно понять, что Иосиф желал дистанцироваться от тех, кого считал скомпрометированными; труднее понять, почему он обращался к ним за помощью.

Разительный случай такой амбивалентности – история с Евгением Евтушенко.

Всемирно знаменитый Евтушенко мог свободно, как никто, разъезжать по свету. У многих это вызывало подозрение, что он орудие КГБ, – все знали, что после поездки человек должен отчитываться перед этой организацией обо всем и обо всех, кого он видел. Хотя нет никаких доказательств, что Евтушенко был завербован, в каком-то смысле он работал на них – молодой, привлекательный поэт создавал положительный образ Советского Союза. Евтушенко, однако, был “сложным явлением” – он защищал Синявского и Даниэля, помогал многим другим людям. В Америке он сумел завязать дружеские отношения с семейством Кеннеди… Он был сибиряк и вел себя так, словно общие правила на него не распространялись, словно огромная его аудитория была ему защитой. Бродский был не одинок в своих подозрениях.

Евтушенко сделал ошибку, похвастав шись Иосифу, что принял какое-то участие в том, что Иосифу разрешили эмигрировать: он сказал, что говорил с кем-то наверху и убеждал обращаться с Бродским прилично при отъезде. В изложении Иосифа сперва это выглядело так, что Евтушенко попросил Андропова не арестовывать Бродского, а выпустить из страны.

Несколько лет назад в русском документальном телефильме Евтушенко дал свою версию сюжета, естественно, представившую его в более выгодном свете. Из трехчасового фильма час был посвящен его отношениям с Бродским. Евтушенко сказал, что просто воспользовался случаем попросить знакомого из КГБ – не Андропова, – чтобы Иосифа не подвергли унижениям при выезде.

Позже Иосиф стал утверждать, что Евтушенко не только работает на КГБ, но и повинен в том, что его выслали из страны. Все это, конечно, доходило до Евтушенко (у них было много общих знакомых), и тот во время одного из своих визитов в Америку обсудил это с Иосифом лично и решил, что с “недоразумением” покончено. Однако Иосиф продолжал говорить о нем гадости всякому, кто соглашался слушать, – включая бывшую жену Евтушенко Ахмадулину.

Несмотря на враждебность, в следующий раз, когда Евтушенко оказался в Нью-Йорке, Иосиф пошел к нему в отель, чтобы тот помог выпустить его родителей. Об этом Иосиф рассказывал сам в интервью Соломону Волкову, и в фильме о Евтушенко Волков проигрывает запись этого интервью. Меня изумило, что Иосиф решил обратиться к Евтушенко: это говорит либо об отчаянии, либо о непонимании связи между причиной и следствием. Родители Иосифа могли эмигрировать (Иосиф считал, что это было бы для них катастрофой), но такого выезда, чтобы навестить его, не мог добиться даже Генри Киссинджер. Евтушенко обещал Иосифу помочь, но, по-видимому, решил

воздержаться (в интервью он это отрицает), о чем Иосифу стало известно.

Иосиф отплатил за это позже, написав в Квинс-колледж письмо о том, почему нельзя брать на работу Евтушенко; письмо содержало ложные утверждения – такого рода письма в России называют доносом.

Вражда с Евтушенко на этом не закончилась. В мае 1987 года Иосиф вышел из Американской академии искусств в знак протеста против того, что Евтушенко сделали ее почетным членом. В своем письме он обвинил организацию в том, что она уронила свой моральный авторитет. Многие расценили это как проявление вздорности.

Мы примирились с тем, что во многом с Иосифом расходимся; ему такая позиция была скорее чужда. Однажды, после смерти Карла, он спросил меня, сердился ли на него когда-нибудь Карл. Я посмотрела на него и увидела, что он в самом деле не понимает, сколько он от нас требовал и сколько обещаний не выполнял. Не сомневаюсь, что мы его тоже разочаровывали…

– Иногда, – ответила я, слегка оглохнув от шума утекшей с тех пор воды.

Кем мы были для него? Не знаю… наверное, разными в разные периоды. Поначалу, когда он обжился в нью-йоркском мире литературных светил, мы, я думаю, представлялись ему людьми малозначительными, людьми из прошлого – в эту категорию были зачислены и многие русские его знакомые. Позже он увидел в нас другие достоинства. Однажды он позвонил мне и спросил, что я думаю о его пьесе “Мрамор”.

– Почему ты меня спрашиваешь? – поинтересовалась я.

– Потому что у тебя и Карла есть здравый смысл, – сказал он.

Я поняла, что ему нужен честный отзыв, возможно, по контрасту с тем, что он слышит в Нью-Йорке. Мы опубликовали эту пьесу на русском, но своего мнения ему не сообщали, поскольку он его не спрашивал.

Я честно ответила, что пьеса читается как неудачная смесь из Стоппарда и Беккета.

Он сказал:

– Ага, ясно.

У “Ардиса” была своя небольшая слава в литературных и издательских кругах – нас интервьюировали, представляли в

газетах, и Карл часто выступал по “Голосу Америки”. Но до Иосифа мы не знали, что такое настоящая слава. Наша линия в отношении Иосифа была проста: слава может только помочь ему, послужить защитой, и мы сделаем все, чтобы ей способствовать. Обычно Иосиф проявлял хорошее чутье в этих вопросах, но иногда вел себя как упрямая примадонна – как тогда в Вене, где только Строуб Талботт сумел найти подход к нему и заставил говорить.

В точности то же самое произошло в 1981 году, когда в Энн-Арбор приехали продюсеры из “60 минут”, чтобы снять материал для этого чрезвычайно популярного телешоу. Все в “Ардисе” радовались тому, что знаменитая программа придет снимать к нам в рабочее помещение – в подвал дома. Все, кроме самого поэта. Подготовкой к работе руководил продюсер по имени Филип, насколько я помню, и после долгого разговора с Иосифом он подошел ко мне и сказал, что вряд ли у них что-то получится.

– Почему?

– Бродский сказал, что никакой ценности для новостей он не представляет – он всего лишь русский поэт. Это никому не интересно.

Я поняла: у Филипа возникли сомнения в успехе из-за того, что Иосифу не понравились вопросы, и он сделался угрюм. Тогда я посоветовала продюсеру оставить пока тему тюрьмы и ссылки и спросить Иосифа, как они с Барышниковым знакомились с девушками в Нью-Йорке. Тут в Иосифе сразу проснулось чувство юмора, и он стал доступен – и киногеничен.

И вот уже знаменитый журналист Морли Сэйфер сидит в нашей подвальной экспедиции, интервьюирует и Иосифа, и нас. Потом группа отправилась снимать в Нью-Йорк, и в сентябре американская публика услышала русские стихи в прайм-тайм. Эта программа познакомила с Иосифом людей, которые обычно не интересовались русской литературой, и всю важность этого знакомства вполне оценить невозможно.

Летом Иосиф обычно путешествовал, поэтому не помню, где он был летом 1982 года, когда у Карла диагностировали терминальную стадию рака. Но после первой тяжелейшей операции в сентябре того года Иосиф навестил его в палате Национального института здоровья. Иосиф был убит. Он всегда был уверен, что умрет раньше, чем здоровый по виду Карл.

В этот год Иосиф написал стихотворение “В окрестностях Александрии” с посвящением Карлу. Первоначально заглавие было “Вашингтон”, но потом Иосиф изменил его, возможно,

чтобы подчеркнуть связь с его любимым Кавафисом, поэтом совсем другой Александрии… Стихотворение как будто зимнее, но июль в нем упоминается потому, что в этом месяце Карлу был поставлен диагноз; “лежащий плашмя колосс”, о котором говорится в стихотворении, – это сам Карл.

Отчетливо помню один эпизод после первой операции Карла, когда Иосиф остановился у нас в Энн-Арборе. Мы с ним были одни, стояли около дома, смотрели на реку Гурон вдалеке, и он сказал, что, когда услышал о болезни Карла, первой его мыслью было: в этом как-то повинно КГБ. Я ничего не могла на это ответить, но понимала его. В его советизированной психике всякое зло обращало мысли к системе, и случайностей – генетических или иных – не существовало.

В 1980-х для нас наступило время смертей. Эпидемия СПИДа унесла Гену Шмакова и еще многих друзей. И два сокрушительных удара для Иосифа – смерть матери в 1983 году и отца в апреле 1984-го; это видно из его эссе, посвященного родителям.

Весной 1984 года Карл, перенесший пять операций и длительную экспериментальную химиотерапию, нашел в себе силы организовать в Мичиганском университете конференцию по русской культуре в изгнании. Присутствовал Иосиф, писатели Юз Алешковский, Саша Соколов, Сергей Довлатов, художник Давид Мирецкий и Барышников. После конференции, собравшей благодаря Мише необычно большую аудиторию, мы устроили дома прием. Для Карла это была последняя русско-американская вечеринка, и получилась она очень приятной. Выделялся Иосиф: он вел себя невежливо с русскими, которые не были его старыми приятелями; его социальную фобию не ослабили ни время, ни слава.

В сентябре 1984 года Карл умер; Иосиф пришел на поминки с сотней других людей, близких Карлу. Он был сердечен, старался меня поддержать, и я была очень рада, что он приехал.

На вечер памяти Карла первого апреля 1985 года в Нью-Йоркской публичной библиотеке я не поехала, но некоторые близкие нам люди в нем участвовали: Иосиф, Артур Коэн, Саша Соколов и другие. Иосиф произнес прочувствованную речь, рассказав о том, сколько сделал для него Карл. Поэт несколько преувеличил роль “Ардиса”, но в отношении Карла он был точен. “В его присутствии ощущалось, – сказал Иосиф, – что он раскусил вас без остатка и не питает по вашему поводу никаких иллюзий, – и все же он был к вам добр”. Он говорил о том, как важно иметь

такого друга, к которому можно обратиться в любое время дня и ночи…

Мне прислали запись речи, и, прочтя это место, я засмеялась: Иосиф имел в виду один конкретный случай. Однажды, еще в первые годы, Иосиф вернулся в Энн-Арбор из Парижа, и, насколько нам было известно, все там прошло нормально. А через несколько дней отчаянный звонок среди ночи – Иосиф просит Карла отвезти француженку в аэропорт, немедленно. Иосифу надо избавиться от нее, там рейс… объяснить невозможно… он больше никогда не попросит ни о чем подобном…

Я пишу об Иосифе и вижу, что пишу и о Карле; сейчас я думаю о них обоих, людях, которые были убеждены, что проживут недолго. И сейчас впервые думаю о том, что у них, у Иосифа и Карла Проффера, было общего. Оба готовы были рисковать, оба были литераторами и людьми действия.

Иосиф боролся со страхом смерти поэзией, любовью, сексом, кофе и сигаретами – и старался не придавать значения смерти, хотя почти никогда не мог о ней забыть. Он знал, что у него больное сердце (первый сердечный приступ случился у него в тюрьме, после ареста), и все мы видели, как он хватается за грудь посреди разговора, прислушивается к тому, что только ему слышно, а потом возобновляет разговор с каким-нибудь смешным замечанием насчет слабостей тела.

У Карла страх внешне выражался редко. Он давно сказал мне, что не доживет до пятидесяти; я не приняла этих слов, сочтя их романтической позой, и была уверена, что разубедила его. Эти люди спешили, словно боялись не успеть сделать то, что хотели, а я была нетерпеливой по характеру, так что спешка была нашим нормальным состоянием.

У Иосифа было много суррогатных семей, и, вероятно, там чувства были такие же, как у нас, – очарование, интерес, уверенность в своей особой к нему близости. Но ни одна из них не сыграла в жизни Иосифа такой роли, как Карл. Так что есть еще причина, кроме смерти, почему “Меньше единицы” посвящена

Памяти моей матери и моего отца.
Памяти Карла Рея Проффера.

Стокгольм, 1987

Один из друзей Иосифа утверждает, что, закончив “Горбунова

и Горчакова" в 1968 году, Бродский сказал, что когда-нибудь получит за это Нобелевскую премию. Правдоподобно: Иосиф был уверен в том, что им сделано. Такая уверенность сама по себе – род таланта. Русские литераторы интересовались Нобелевской премией, особенно после того, как ее получил в 1958 году Пастернак, показав, что для советского писателя премия – из области возможного.

Тема Нобелевской премии, насколько помню, возникла лишь раз в наших разговорах: Иосиф сказал мне, что они с Милошем, получившим премию в 1980 году, выдвигали на нее друг друга ежегодно. Тем не менее, когда Иосиф получил ее, это было для всех нас большим сюрпризом. Он позвонил, чтобы сообщить мне об этом, но я уже знала – по нашему миру новость распространилась со всей быстротой, какую дозволяла телефонная сеть.

Иосиф хотел, чтобы я прилетела на церемонию; я сказала, что у меня нет денег, – это была правда, но были и другие причины: я все еще летела в пропасть после смерти Карла. С Иосифом я об этом не разговаривала – только самые близкие друзья знали, каково мне. Но Иосиф настаивал гораздо упорнее, чем обычно, и прислал мне деньги на билет (потом я отдала долг, что его удивило). И без большой охоты, среди зимы, я отправилась в столицу Швеции.

Напрасно я сопротивлялась. Более счастливого Иосифа я никогда не видела. Он был ошеломлен, смущен, но, как всегда, на высоте положения. Я обрадовалась, что приехала. Мы встретились днем перед церемонией. Оживленный, приветливый, выражением лица и улыбкой он будто спрашивал: вы можете в это поверить?

У него было ограниченное количество билетов, и пригласить он мог только немногих гостей (Венцлову, Лосева, старых друзей из Нью-Йорка). Прибыли также его американские и европейские издатели и русские друзья, которые сумели попасть сюда как гости других людей или как представители прессы.

Мероприятие было организовано четко, но не без некоторых аномалий: перед банкетом и балом, сдавая пальто в гардероб, вы оказывались лицом к лицу с черно-белым телевизором, показывавшим жесткое порно, – его смотрел молодой гардеробщик.

Начались речи лауреатов при вручении; эти речи гораздо непринужденнее нобелевских лекций, их прелесть в том, что сочинены на скорую руку. Помню, как все были поражены скромностью и изяществом японского биолога Тонегавы. Иосиф занял свое место и очень хорошо начал читать свою речь по-английски, но после трети перешел на русскую интонацию, и

понимать его стало трудно. Шведы рядом со мной, отлично владевшие английским, спрашивали, что он говорит, и я не всегда могла им ответить.

Начался бал, первый танец я танцевала с Томасом Венцловой (партнеров вам назначали, но, кто выбирал, я не знаю). Мимо нас проплывали встрепанные советские диссиденты. Мы с Томасом почти не могли разговаривать – настолько странным и торжественным было происходящее.

Иосиф танцевал со шведской королевой.

Как такое случилось? Как рыжий ленинградский мальчик, отказавшийся ходить к логопеду для исправления еврейского выговора, подросток, в пятнадцать лет бросивший школу, – как он очутился на этой церемонии в Стокгольме? Мы знали, что одного таланта недостаточно – Пруста, Джойса, Борхеса и Набокова Нобелевский комитет не отметил. Люди литературные, мы верили в нечто, называемое судьбой, и это нечто совпало с убежденностью Иосифа в своем предназначении.

Многие помогли Иосифу попасть сюда. Здесь надо отдать должное Роджеру Страусу, который сделал для него все возможное в профессиональном отношении так же, как сделал для Сьюзен Сонтаг. Роджера я не любила за то, как он третировал людей, которых считал не важными, но он был замечательно искусен в создании литературных репутаций, становившихся значительным явлением на мировой сцене; и Иосиф многим ему обязан. Важную роль в репутации Иосифа сыграл польский поэт Чеслав Милош – его мнение глубоко уважали в Европе. Милош не раз приезжал в Энн-Арбор, у него там были два издателя: “Ардис” и “Мичиган славик матириалс”. Мы печатали его английские переводы стихов Александра Вата и русский перевод “Поэтического трактата” самого Милоша. Иосиф утверждал, что разговаривать с Милошем неинтересно, если даже очень его любишь, – потому что они во всем согласны.

Судя по тому, что я видела, это было не так. Милош жил в Соединенных Штатах дольше, и взгляды его на поэзию были гораздо менее узкими – он, к примеру, понимал, в отличие от Иосифа, значительность Уитмена. Не в пример своему русскому другу он был трезв и рассудителен в вопросах политики.

Эссе Иосифа были важны для Нобелевского комитета: эти люди не могли прочесть его стихи на русском, но эссе они могли читать. Эссе были неровные, но ум Иосифа и мощная индивидуальность сквозили в каждой строчке.

Когда вы знакомы с писателем лично, почти невозможно быть нормальным читателем. Теперь, перечитывая эссе Иосифа, я поражаюсь его прозрениям и широким уплощающим обобщениям,

сосредоточенности на связи причины и следствия и потребности все профильтровать через разум. Задиристый тон и вещание *ex cathedra* не смягчаются его юмором, как смягчались в жизни. Он великолепен, когда разбирает стихотворения Одена и Цветаевой, но его глубокий анализ (мало затрагивающий музыку стиха) объясняет большинство вещей сознательным выбором, как будто бессознательное не играло существенной роли. Известно его высказывание, что для поэта бессознательное едва ли существует – поэт слишком занят его эксплуатацией. Естественно, Иосиф проецирует свои качества на других поэтов. Лучше всего – его автобиографические эссе, когда он нежно и с благодарностью пишет об Одене и Спендере как о замечательных людях, с которыми ему посчастливилось быть знакомым.

Если кто-нибудь хочет узнать, каков он был в плохом настроении, когда путешествовал один по стране, не зная ее языка, об этом дает представление раздраженное, непродуманное эссе “Путешествие в Стамбул”, где брод для него оказался глубоковат; или эссе о поездке в Бразилию (“После путешествия”) в сборнике “О скорби и разуме”, где под конец он называет свою подружку “шведской вещью”.

В эссе о своей жизни “Меньше единицы” и “Полторы комнаты” язык логики и умозаключений исчезает, все лучшее в своей поэтической душе он обратил на детство и возлюбленных родителей; результатом стала искренность, возведенная в искусство.

Длинное эссе о Венеции “Набережная неисцелимых” – гибрид в том смысле, что многие строки этой прозы взяты из его же стихов. Здесь раскрываются очень разные стороны его характера и таланта – радость от Венеции (он говорит, что почувствовал себя котом – для него это высший показатель счастья), открытость чувственному очарованию морских звуков, воды в сочетании с невероятной архитектурой. Но едва его взгляд обращается к человеческим существам, тон меняется; когда он обрушивается на легко опознаваемых итальянских знакомых за их левизну, мне кажется, раздражение становится заслоном его уму.

Поэт Бродский для меня значительно многограннее Бродского-эссеиста. Так же, как большинство русских читателей той поры, я считала его самым выдающимся русским поэтом со времен Пастернака. В глазах тех, кто мог читать Бродского в оригинале, его диапазон, масштаб задач, решимость привнести новые темы и метры в русскую поэзию сделали его крупным поэтическим явлением, предъявившим к читателю непривычные

требования.

Memento mori – ключевая идея творчества Бродского, и, хотя эта тема освящена традицией, для него она обладала устрашающей реальностью. Изгнание, другая традиционная тема, порождает не вполне ироническую жалость к себе, когда субъект, “совершенный никто, человек в плаще”, тот, из забывших кого “можно составить город”, “потерявший память, отчизну, сына”, помещается среди великолепия европейских просторов и говорит, что век скоро кончится, но раньше кончится он сам. Угнетенность поэта, отказ от утешений иногда заволакивает сцену как туман и гасит свет творения. Очень редко обращается поэт к своему создателю и говорит, что испытывает “лишь благодарность”. Но пустота необязательно негативна, она может быть залежью возможностей. Даже если тема мрачна, щедрость технического мастерства, вопреки ей, может вызвать радость у читателя.

Даже теперь, стоит мне раскрыть “Часть речи”, я радуюсь, читая “Двенадцать сонетов к Марии Стюарт”, где поэт начинает с реальной Марии Стюарт, переходит на игравшую ее кинозвезду, в которую он влюбился, и наконец останавливается на живой женщине, Марине, напоминающей ему ту артистку. Попеременно игривый и серьезный в этих сонетах, кавалер с метафизическими интересами, он находит блестящие рифмы, и трудное дело в его исполнении кажется легким.

Рано еще говорить, ровня ли поэт Бродский Цветаевой и Мандельштаму. Думаю, “Урания”, “Часть речи” и “Новые стансы к Августе” – замечательные поэтические книги. Проза его не на уровне Элиота (а Элиот был очень важен в его формировании) или Мандельштама, но сопоставление с ними само по себе – честь для него.

Время – тема и враг Иосифа, – а не мое мнение и не мнение первых его читателей определит его место в русской культуре; но вместе с этими первыми читателями присутствовать при созревании его таланта было незабываемым переживанием, как при рождении новой галактики.

День рождения в Нью-Йорке: 24 мая 1990 года

”Будет большая вечеринка, день рождения, – сказал Иосиф по телефону. – Приезжай. Пятьдесят лет”.

Единственный ребенок обожающей матери, Иосиф был очень весел в день рождения. В России большая родительская комната бывала битком набита гостями – это продолжалось и после его отъезда. В этот майский день я вошла в его квартиру на Мортон-стрит и увидела, что тут собрались его приятели из самых разных кругов: русских, американских, литературных, медицинских…

Во дворе стоял навес с помостом. На нем сидели Иосиф и Дерек Уолкотт, словно обозревая своих подданных. Иосиф встретил меня тепло. Я преподнесла ему особый подарок – его декоративный подсвечник из Ленинграда, тот, что был описан в его стихотворении и оставлен нам на память. Сказала, что подсвечник должен вернуться к нему в эту торжественную годовщину.

Я была знакома со многими на этом вечере, но свободно себя не чувствовала. Русские с американцами общались мало. Я обрадовалась, что можно поговорить со Сьюзен Сонтаг – как раз когда я вошла, она закуривала сигарету. Считалось, что она не курит, и ей захотелось объясниться:

– Решила превратить свою единственную сигарету в порок.

Мы немного поговорили о Карле. Когда ему поставили диагноз, Сьюзен была одной из сотни людей, к которым я обратилась за советом и в поисках связей, и она проявила необыкновенную отзывчивость. Но сегодня не это у нас было главной темой. В день рождения Иосифа мы думали о наших сложных с ним отношениях.

Сьюзен и ее сын Дэвид Рифф, теперь редактор Иосифа, стали для него еще одной семьей в Нью-Йорке. Потом Дэвид Рифф написал отрицательную рецензию на “Закрытие американского сознания” Блума, и Иосиф порвал с ним отношения. Поскольку Иосиф разделял многие, если не все, убеждения – и предубеждения – Блума (литературный канон – вот что имеет значение), вполне понятно, что он не мог согласиться со словами Риффа, что Блум “мстителен и реакционен”. Менее понятно для американца то, что Иосиф мог разорвать дружбу из-за рецензии на книгу. Это опять-таки было одним из его заскоков: он защищал культуру от обывателей или, как он любил их называть, – плебса.

Эта черта Бродского приводила Сьюзен в недоумение. На самом деле это был советский спор, перенесенный на американскую почву. В России ставки были очень высоки, поскольку целую культуру разрушили сначала большевики, а потом Сталин. Поэтому Иосиф увидел в рецензии не просто оценку книги Блума, а первый залп в, возможно, долгом и медленном разрушении американской культуры. Он не верил в свободную конкуренцию идей: он на себе почувствовал результаты крутой политической перемены, которая привела к потере свободы.

Пока мы наблюдали за процессией знаменитых русских и американцев, поздравлявших Иосифа, я сказала Сьюзен, что он может легко сойти с рельсов: например, он угрожал подать на меня в суд, если я опубликую воспоминания Карла о нем. Она

очень удивилась – видимо, полагала, что на меня его гнев не может распространяться. Ей захотелось узнать, что произошло, и я рассказала вкратце.

В 1984 году, в последний год жизни Карла, когда его подвергли радикальной химиотерапии в Национальном институте здоровья (лекарство вводили ему через отверстие прямо в брюшную полость, вызвав перитонит), он собирал свои воспоминания. Последний раздел, над которым он работал перед смертью, был об Иосифе. Он сверялся с нашими заметками и дневниками и брал из них все, что мог, но не успел продвинуться дальше первого неполного черновика. Карл взял с меня обещание опубликовать его мемуары, хотя они были в значительной мере незаконченными.

В начале 1987 года, когда пришло время превратить мемуары в книгу “Вдовы России”, я прочла раздел об Иосифе и пришла к выводу, что не могу его опубликовать, не показав сначала ему самому. Он прочел и пришел в ужас, несмотря на то что в мемуарах отразилась наша любовь к нему и восхищение. Там ошибки, сказал он, – и не сомневаюсь, что они были: Карл только приступил к проверке того, чему мы сами не были свидетелями. Я понимаю, тут много лестного, сказал Иосиф, но нет, это нельзя публиковать… Его огорчила объективность Карла: друг не должен так писать. Иосиф воображал, будто может контролировать то, что о нем пишется.

Карл писал, страдая от болей, перед лицом близкой смерти, и это сказалось на тоне написанного. Тем не менее, в том, каким ему виделся Иосиф, например, размеры самомифологизации, которую Карлу пришлось наблюдать, эти заметки правдиво отражали его мысли; сменил ли бы он тон написанного в позднейшем варианте – вопрос открытый.

Я готова была сделать сокращения, если бы Иосиф настаивал, но к резкой его реакции готова не была. Он чувствовал себя обманутым и не понимал, что я дала обещание умиравшему мужу. В припадке подозрительности он обвинил меня, сказал общим знакомым, что написала это наверняка я. Карл никогда бы такого не сделал. Тогда это было не особенно забавно, тем более что я как раз готовилась напечатать его очередную книгу на русском.

Когда он прислал мне письмо с угрозой подать в суд, я позвонила моей *consigliere*[7] Саре Бабенышевой, знавшей всех в русском литературном мире. Она, в свою очередь, позвонила близкой приятельнице Иосифа Виктории Швейцер. После этого она позвонила мне и сказала: раздел про Иосифа уберите из книги Карла – опубликуете его потом. Не стоит губить из-за него

такую тесную дружбу.

Я согласилась, но добавила в предисловие строчку о том, что воспоминания о Бродском исключены по его просьбе.

Сьюзен выслушала все это с грустью, ей нравился Карл. Спросила меня, восстановилась ли наша дружба после этой ужасной угрозы.

– Я приняла решение простить Иосифа, – ответила я.

Теперь я думаю, правдивее было бы сказать, что не перенесла бы потери еще одного человека из моей жизни.

Ей было трудно примириться с мыслью, что я простила его после такой угрозы. Не думаю, что сама она простила ему то, как он обошелся с Дэвидом – и с ней. Однако она была здесь, на дне рождения, так же, как и я. (Потом Иосиф помирится с Дэвидом.) И это кое-что говорит о личности Иосифа. Он мог вас страшно огорчить, мог оскорбить ваше чувство чести и справедливости, но вы прощали его во имя чего-то, что даже трудно назвать. Он сам был так раним – так по-детски в каких-то отношениях. Даже в ярости он мог опомниться и пытался исправить ущерб, причиненный его собственному представлению о себе как о приличном человеке. Процесс этот был обыкновенно вполне очевидным и вполне обезоруживающим. Но не всегда.

Нобелевская премия дезориентировала его – он получил ее, и теперь у него были деньги. Это так плохо вязалось с его самоощущением, что он постарался избавиться от них как можно скорее. Иногда он сердито жаловался на то, что кто-то отозвался о нем плохо, и я напоминала ему, что все это не имеет значения – он лауреат Нобелевской премии, да и всех остальных премий, какие стоит получать. Он нуждался во врагах. В сопротивлении им – и государству – сформировалась его личность.

Поговорив с несколькими русскими друзьями – с Юзом Алешковским и его женой, с Леной и Сергеем Довлатовыми, – я пошла к Иосифу прощаться. Он проводил меня до выхода и остановился.

– Мы проделали большой путь, – сказал он тихо, с нежностью, среди толпы гостей.

– Да, – сказала я, думая, что он имеет в виду “до этого момента”.

После я сообразила, что, может быть, неправильно его поняла – он стал употреблять “мы” вместо “вы”, и, возможно, его слова означали, что мне пришлось ехать далеко, из Мичигана. Что он хотел этим сказать на самом деле, я узнаю только позже, когда прочту его последнее письмо ко мне.

День рождения справляли в мае. К сентябрю жизнь Иосифа решительно переменилась.

Голос у него был растерянный, когда он мне сообщил об этом. Не могу поверить, сам не знаю, что я сделал, сказал он.

Я спросила его, что случилось.

– Я женился… Просто… Просто девушка такая красивая.

Подразумевалось, что женился вопреки разуму, побежденный ее красотой. Учитывая его прошлое, я была очень удивлена.

– У тебя было много красивых женщин, однако ты на них не женился, – сказала я. – Тут что-то еще, кроме красоты.

– Не знаю, – сказал он.

Помню, я положила трубку, думая: как же поздно это произошло в его жизни. И сразу вспомнились два важных эпизода в прошлом, 1989-м, году – они как будто подсказывали, что Иосиф может жениться.

Советский Союз уже крошился в 1989 году, и это поразило всех нас. Из известных мне людей лишь двое предсказывали какие-то перемены: Андрей Амальрик и Стивен Фрэнд Коэн. Мы же, остальные, думали, что пройдет еще три десятка лет, прежде чем советский монолит рассыплется. Иосиф, как и многие эмигранты, боялся поверить, что события таковы, как их описывают. Даже когда я вернулась в том году с Московской книжной ярмарки и сказала, что все изменилось, он слушал недоверчиво. Это хитрость, сказал он, – и многие были с ним согласны. Когда речь шла о Советском Союзе, разумной позицией было ожидать худшего.

В те годы я, как и все наши друзья, очень тревожились за здоровье Иосифа. Заметно было, что он теряет свою поразительную живучесть. Когда я вернулась из России, он встречал меня в аэропорту Кеннеди и ни с того ни с сего сообщил: “Women still treat me like a lay”[8]. Ого, поднаторели в английском, первым делом подумала я. А потом поняла: он сообщает, что сердечные лекарства пока еще не сказались на его половой жизни. У него было много операций на сердце, в том числе два шунтирования, – всякий раз это требовало большой выносливости и всех без остатка сил, и всякий раз, оправившись, он боялся, что не сможет писать стихи.

В 1989 году к Иосифу приехал важный гость – двадцатидвухлетний Андрей Басманов, сын, в последний раз увидевший отца в пятилетнем возрасте. Встреча не задалась. Иосиф позвонил мне и с досадой сказал, что сын, играющий на гитаре, весь день ничего не делает, только смотрит *MTV*, говоря,

что в России ничего подобного нет.

Конечно, ему нравится. Он молодой музыкант, сказала я. Мне самой нравится.

Он не читает. Он ничего не знает, сердито сказал Иосиф.

Вот это было преступлением. Сыну полагалось быть его копией и его гордостью. Я сказала ему, чтобы был помягче с парнем, который впервые встретился с отцом, будучи уже взрослым. Но Иосиф – не мог, он был разочарован. Когда мы заговорили об этом в следующий раз, Андрей уже улетел в Россию, раньше времени. Иосиф все еще огорчался и винил Марину в том, что получилось из Андрея. Теперь он не против того, чтобы завести другого ребенка – ребенка, из-за которого, как он сказал мне однажды, Андрей мог почувствовать себя оттесненным.

Визит Андрея связался с другим важным событием того года. Иосиф узнал, что Марина вышла замуж, и написал последнее посвященное ей – и злое – стихотворение с рифмой к “химику”. В каком-то смысле до этого момента он все еще был женат на Марине.

Я прилетела в Лондон на заседание жюри русской Букеровской премии и там, в доме Дианы Майерс, познакомилась с Марией Соццани-Бродской. Я увидела “еще что-то, кроме красоты”. Она оказалась не только замечательно красивой, она была умна и образованна. В ней текла кровь итальянцев и русских аристократов; она говорила на четырех языках, была классической пианисткой, изучала русскую литературу, и в центре ее интересов была Цветаева. В России она не бывала, но принадлежала его миру: близка была с эмигрантской семьей Эткиндов, которую Иосиф хорошо знал в Ленинграде. Это – и красота; как можно было не жениться на ней?

Мария была много моложе его, и в Лондоне, когда мы прощались (о важном, естественно, говорилось в это время), Иосиф признался, что обеспокоен возрастным разрывом. Я сказала, что, если она хочет детей, он должен согласиться. После смерти Карла уравнения брака и деторождения представились мне в другом свете – спасибо, что у нас родилась дочь. Я не думала тогда, что у Иосифа впереди долгая жизнь, и полагала, что Мария понимает, насколько слабое у него здоровье. Но выглядел он счастливым и бодрым. Похоже было, он свыкся с мыслью, что женат.

В 1993 году у них родилась дочь Анна – в семье ее звали Нюшкой, и теперь они жили в Бруклине. Мария дала ему то, чего

у него по-настоящему никогда не было, – семейную жизнь.

В 1995 году Иосиф попросил меня напечатать его новую книгу стихов “Пейзаж с наводнением”. Я к этому времени переехала в Калифорнию – с дочерью Арабеллой Проффер и мужем Россом Тисли – и в Нью-Йорке бывала редко. Я предполагала, что Иосиф отдаст новую книгу в русское издательство, но он и тут не пожелал иметь дело с Россией: сказал, что книги там издают уродливо, плохо, вульгарно и т. д. Я почувствовала, что главная причина – другая: ясно было, что́ он хочет этим показать.

Я знала, что после нас книгу издадут и в России, но согласилась: все главные книги стихов он публиковал раньше всего у нас; финансового интереса для “Ардиса” в этом не было, но он был наш автор.

В январе 1996 года я приехала в Нью-Йорк и восемнадцатого января с Мэри Энн Шпорлюк и Роном Майером, ардисовскими редакторами, которых Иосиф хорошо знал, отправилась в новую квартиру Бродских в Бруклине.

Иосиф был вынужден переехать из уютной квартиры в Гринич-Виллидже после того, как нарушил первое жилищное правило Нью-Йорка: он полностью перестроил съемную квартиру, и владелец преобразовал дом в кондоминиум. Это была одна из многих попыток Иосифа избавиться от нобелевских денег. Он был непрактичен, предрасположен к чувству вины и к тому же знал, что Беккет, образец художника-аскета, отдал всю свою Нобелевскую премию.

Квартира в Бруклине была очень приятная, очень уютная. Мария приняла нас чрезвычайно мило. Маленькой Нюшке, очень похожей на Бродского, было года два, и она уже хорошо разговаривала. Мария читала ей стихи и явно всячески заботилась о ее развитии. Я немного поговорила с ней, а сама все время думала о том, как плохо Иосиф выглядит. Он оттягивал еще одну операцию…

Он всегда умел призвать на помощь стоическую веселость (“Жизнь – говно, – утешал он как-то нашу подругу Нэнси Бердсли, – но это не причина не получать от нее удовольствие”) и даже сейчас энергично занимался разными делами, встречался с друзьями, не складывал рук; но, говоря с ним, всякий чувствовал, что время его на исходе.

Мы были очень рады встрече, и разговор у нас пошел в привычном духе. Он пожаловался на здоровье, и я сказала: ты давно уже живешь второй век. Такой тон был у нас нормальным,

но Марии было тяжело это слышать, и, посмотрев на ее лицо, я пожалела о своих словах.

Иосиф показал мне свой кабинет с отдельным выходом на улицу, и я увидела, что он устроил себе гнездо, наподобие комнатки в Ленинграде – гораздо больше, гораздо лучше обставленное, но такое же по атмосфере. Он дал мне прочесть детское стихотворение, написанное на английском. Он радовался, удовольствие от писания никуда не делось.

Не помню, сказал ли он это о Марии тогда или потом, по телефону, но на мои слова, что она мне показалась хорошим человеком, ответил: “Она чистая и снаружи, и с изнанки”. И я поняла: он чувствует, что она слишком хороша для него.

Из Нью-Йорка я отправилась в Вашингтон и встретилась там с моей московской приятельницей Женей Гавриловой.

– Как Иосиф? – спросила она.

– У него лицо пепельного цвета, – вырвалось у меня.

Несмотря на это, я не думала, что он умирает.

Он бывал в таком состоянии и раньше и выкарабкивался. Я полетела домой и занялась его книгой. Двадцать третьего января 1996 года от него пришел рукописный факс с вопросом, не поздно ли вставить в книгу еще одно стихотворение. К этому он добавил по-английски абзац о моем посещении:

Когда я смотрел, как ты болтаешь с Анной, впечатление было поразительное: словно описан полный круг. От того дня, когда я нес на плечах Иэна по нашему коридору в Ленинграде, и до вашего разговора с Нюшкой (по-английски), мы оба проделали, похоже, изрядный путь. Пришли мне фотографию Арабеллы [моей дочери].

Целую.

Иосиф.

Через пять дней, 28 января, он умер у себя в кабинете. Не укладывалось в сознании, что больше никогда не услышу его голос.

Через несколько дней у меня был разговор с Васей Аксеновым.

Чувство такое, что закончилась эпоха, сказала я. Это клише никогда еще не казалось таким незатертым.

Да, сказал Вася, правда. Как и все почти, Вася все ему простил.

Потом я пойду на вечер памяти Бродского и на прием, но окончательно я осознала, что его больше нет, в этом разговоре по телефону – и у меня перехватило дыхание.

Музей Ахматовой, 2003

С проблемами посмертной славы я столкнулась в 2003 году, когда приехала в родной город Бродского и Владимира Набокова, и литературные темы соединились так, как пришлось бы по вкусу автору “Дара”. Всем нам знакома привычка приписывать особое значение каким-то событиям, усматривать связи, которые могут быть в действительности, а могут и не быть. Менее привычным было то, что я переживала сейчас, – нежелание видеть связи очевидные, когда воспринимаешь события изолированно, в отрыве одно от другого.

Впервые с тех пор, как Иосиф покинул Россию, я ехала в Санкт-Петербург из-за него. Ехала как представительница Соединенных Штатов на выставку “Иосиф Бродский: Урания. Ленинград – Венеция – Нью-Йорк”. Это была первая такая выставка в России, где демонстрировалось собрание книг, рукописи, фотографии и памятные вещи.

Город позолотили к трехсотлетию, я никогда еще не видела его таким чистым и красивым. Если изучаешь русскую литературу, сначала это будет город Пушкина, потом – Достоевского; но со временем образуются свои литературные ассоциации с этой рукотворной красотой, созданной на болотах Петром Великим.

У меня этот нереальный город ассоциировался не только с Иосифом, но и с другими поэтами, которые смогли передать его сущность во многих стихах. “В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем…” – писал Мандельштам, и, гуляя по городу с моим мужем Россом, я думала и о нем, и о его подруге Анне Ахматовой. Русофилка во мне хотела бы, чтобы Бродский был похоронен в этом городе, но как человек, близко знавший его, могу сказать уверенно: он был бы рад узнать, что его похоронят на острове Сан-Микеле в Венецианской лагуне, рядом с Дягилевым и Стравинским.

К эмоциональной стороне открытия выставки Бродского я не была готова. Выставку сделали в музее Ахматовой, в красивом Фонтанном доме, где она много лет занимала комнату. Прежде я не бывала в этом знаменитом доме. В музее, хотя я видела его впервые, все было знакомым: фотографии Ахматовой при входе – те же, что печатал “Ардис” тридцать лет назад.

Мы напечатали много стихов Ахматовой в переводах и репринты ее красивых русских книжек 1910-х годов – и не только потому, что были знакомы с ее подругой Надеждой Мандельштам; Карла и меня влекла литературная личность Ахматовой и ее судьба. Он перевел ее “Поэму без героя”, а я

собрала много ее фотографий.

Директор музея Нина Попова подарила мне книгу[9]; она, наверное, даже не догадывалась, как я обрадуюсь этому увлекательному исследованию об Ахматовой и Фонтанном доме.

Уже слегка нервничая, я вошла в дверь и увидела расставленные на полу мониторы – на всех Иосиф. На стендах – ардисовские издания, целая стена в открытках, которые Иосиф слал родителям из путешествий. Отчасти воссоздан его кабинет в Саут-Хедли: пишущая машинка, фотографии, вещи с письменного стола и т. д.

Я прошла еще через одну дверь и увидела людей, которых не видела десятки лет, – друзей Иосифа. Пронзительное ощущение – будто время вернулось вспять.

Друзья рассказали мне о планах устроить музей Бродского в прежней комнате семьи. Подошла Таня Никольская и сказала, что сейчас в городе проходит конкурс на памятник Иосифу – предстоит выбрать лучшую статую или бюст.

– Вам понравится, – сказала Таня. – Некоторые статуи сделаны с фотографий. Одна – Иосиф шагнул на мостовую; другая – он сидит на чемодане в аэропорту…

Мистер *Mauvais To n* рассмеялся бы – и заплакал.

На церемонии открытия, которую снимали для телевидения, выступали несколько человек: американский посол Александр Вершбоу, представитель Альфа-банка, частично спонсировавшего мероприятие, и я. Помню только, что свою импровизированную речь начала, как ни странно, с уместного рассказа о Мандельштаме.

В 1998 году я взяла интервью у Эммы Герштейн, единственного долгожителя из окружения Ахматовой и Мандельштама. Моя дочь Арабелла снимала интервью – еще один признак того, как изменилась Россия: в прежнее время Эмма пришла бы в ужас от иностранки с камерой.

Эмма Герштейн стала жительницей моего русского мира в 1970 году, но не могу сказать, что она мне нравилась: каждое мое посещение начиналось с ее нападок на врагиню Надежду Мандельштам. В конце концов Карл, человек гораздо более терпеливый, стал ходить к ней без меня. Эмма прожила очень долгую жизнь и писала, писала, словно срослась со своим столом. Наконец, в глубокой старости, ее мемуары сделали ее знаменитой в новой, свободной России.

У Эммы на все имелись готовые ответы, и я, чтобы добиться некоторой спонтанности, решила попробовать что-то неожиданное:

– Какие были жесты у Мандельштама?

После легкого замешательства она сказала:

– Когда он первый раз пожал мне руку, я почувствовала электричество.

Таково же было мое знакомство с Бродским, сказала я людям, собравшимся в музее Ахматовой, – электризующим.

В эти дни я слышала много разговоров и огорчалась, слушая, как Иосифа упорно изображают мучеником даже те, кто его знал. Может быть, таким он им представлялся, а может быть, они думали, что это полезно для его посмертной репутации в России. Для меня это было непостижимо. И было бы нестерпимо для него.

Отчасти из протеста против этой новой партийной линии вечером после выставки, в американском консульстве, перед преимущественно русской аудиторией я высказалась совсем в другом ключе. Я не знала человека, сказала я, который больше хотел бы уехать из СССР, чем Иосиф. Уехав, сказала я, он потерял нечто жизненно важное: свою аудиторию. Но и вы потеряли что-то важное – вы потеряли своего поэта, и это горько; возможно, сегодняшняя выставка, его книги, стол, фотографии – в каком-то смысле ответ судьбе.

Кто-то из его друзей возразил: может, Иосиф и хотел уехать, но, конечно, он хотел иметь возможность вернуться.

– В самом деле? – спросила я. Я была одной из многих, кто уговаривал его посетить Россию после 1989 года.

Иосиф приводил много причин, почему он не поедет. В разное время и в зависимости от настроения они были разными; поэтому основываться можно только на его поступках – он не поехал в Россию, когда это стало возможно. Мне известны некоторые его доводы: одним было железное убеждение, что поездка в Советский Союз была бы формой прощения. Он не верил, что новые хозяева страны сильно отличаются от прежних, тех, кто не выпускал его родителей. Самому ему отъезд дался чересчур тяжело, и трудно поверить, что вернуться можно так, словно это тебе ничего не стоило. Нам, американцам, потомкам эмигрантов, это было знакомо: иногда ты любишь свою страну, а она тебя в ответ не любит. Утрата становится частью нового тебя.

Не этот ли поэт написал о России: “Там, думал, и умру – от скуки, от испуга”? Если отъезд – это способ переменить судьбу, то что означало бы возвращение?

Темы Бродского и Набокова переплелись в Петербурге, местами комически. На другой день после приема в консульстве

Ольга Воронина, молодая женщина, связанная с музеем Набокова, привела меня на радиостанцию для интервью – чтобы оповестить о моей вечерней лекции в музее, посвященной Набокову.

Обстановка на радиостанции была привычно бедная: старая засаленная кушетка, кофе, не пригодный для питья, и симпатичные люди. Ведущая, Наташа, начала литературный час с викторины – призом будет альбом репродукций. Слушателям дали подсказку: “Кто в пятнадцать лет бросил школу, а потом удостоился Нобелевской премии?”

Мы сделали интервью о Набокове, после чего настало время для вопросов радиослушателей. Интервью было не об Иосифе, но он их очень интересовал, поскольку было упомянуто о нашей с ним дружбе.

– Это правда, что Набоков купил Бродскому джинсы? – спросил первый звонивший, дабы отделить наконец факты от вымыслов.

– Нет, – ответила я, – Набоков послал нам деньги, а мы купили джинсы.

Следующий был настроен враждебно, он желал знать, правда ли, что Бродский получил премию благодаря связям.

– Ну, связи есть у многих, – сказала я, – но не все получают Нобелевскую премию.

В тот вечер я выступала в музее Набокова, разместившемся в бывшей квартире семьи на Морской. В ней я тоже никогда не бывала. Вспоминая “Другие берега”, странно было бродить по эмоциональной недвижимости Набокова. В тот период музей испытывал финансовые трудности, помещение было несколько запущенное, и все же комнаты красивы. Это был мир, совсем не похожий на маленькую комнату Ахматовой в Фонтанном доме и на конуру Иосифа в доме Мурузи. Но общим у этих трех мест было их расположение в центре – хорошие адреса и под царским, и под советским небом.

Рассказывая о своих впечатлениях от Набокова, я заметила, что один человек сидит полуотвернувшись, как будто в немой ярости. Когда настало время вопросов, он разразился тирадой против Набокова из-за того, что тот высмеял Чернышевского в “Даре”. Это был совершенно персонаж из Достоевского, и я поняла, что его оскорбляет элитарное высокомерие Набокова, видимое отсутствие сочувствия к простому человеку.

– Трудно ожидать от Набокова, – сказала я, – чтобы ему нравился человек, считающий, подобно Чернышевскому, что сапоги значат больше культуры[10].

После этого человек из подполья возмущенно вышел. Сам Набоков понял бы его: человеку хотелось, чтобы Чернышевского любили так же, как он. И Иосиф, любивший Достоевского, понял бы человека, так близко к сердцу принимающего литературную обиду.

Имя Бродского снова возникло этим вечером, и я стала думать, что он действительно знал всех в Ленинграде – или же все знали его. На лекцию пришел Яша Багров, друг наших добрых друзей в Калифорнии, Лены и Игоря Дзялошинских. Яша повез нас в свою квартиру на Выборгской стороне. Поездка на леваке должна была бы отнять минут двадцать, но мы угодили в таинственную пробку и провели два часа за беспорядочной русской беседой, какой не могло бы быть при советской власти, когда не знаешь, кому докладывает водитель.

Яша, полуслепой и очень проницательный, знал Иосифа – Иосиф перед отъездом несколько раз консультировался у него по поводу сердца. Он вспомнил, что Иосиф был невероятно взволнован перспективой отъезда.

А некоторые друзья здесь хотят видеть в нем жертву, трагического изгнанника, сказала я.

Кое-кто из этих друзей – скорее *государственные* люди, чем литературные, – ответил Яша. До меня стало доходить, что Иосифа могут использовать в разворачивающемся большом патриотическом проекте. Это слово застряло у меня в голове; может быть, Яшино замечание вскользь подтолкнуло меня спустя годы к написанию этих мемуаров.

Когда мы подъехали к Яшиному дому, было темно, и он попросил нас внимательно оглядеться, прежде чем выйдем из машины. Он заплатил шоферу, чтобы тот дождался нас и отвез обратно. Так спокойнее, сказал он.

Путинская приборка еще не дошла до этого района, в прошлом населенного среднезажиточной публикой. Здание выглядело обветшалым, перил на лестнице не было, во мраке как будто таилась угроза. Зато в квартире царили тепло и русский семейный уют. Вспомнилась эта неизменная черта моей российской жизни – когда входишь из недружелюбного, неприветливого города, с официального холода в живое людское тепло.

Когда настало время уходить, Яша посигналил фонарем водителю – убедиться, что никто не околачивается на стоянке. Я вспомнила Москву 1991 года, когда старухи продавали фамильное серебро, чтобы накормить своих кошек, посмотрела на безлюдную улицу, не увидела ничего необычного, но почему-то почувствовала угрозу. Это был постсоветский мир, которого ни

Набоков, ни Бродский не знали.

Музей Набокова и музей Ахматовой мне понравились, я была рада, что и таким способом сохраняют память об этих великих писателях. Почему же тогда меня огорчала идея музея Бродского? Позже мне пришло в голову, что можно огорчаться и не понимать почему, пока какая-то встряска не откроет тебе глаза – почему отвращает сама мысль о музее друга. В Америке есть марка с Бродским, есть аэрофлотовский самолет с его именем. Я не хочу, чтобы был музей Иосифа, не хочу видеть его на марке, видеть его имя на фюзеляже: все это означает, что он мертв, мертв, мертв – а более живого человека не было на свете.

Я протестую: магнетического и трудного человека из плоти и крови пожирает памятник – чудовищный процесс, учитывая, сколько в нем было жизни.

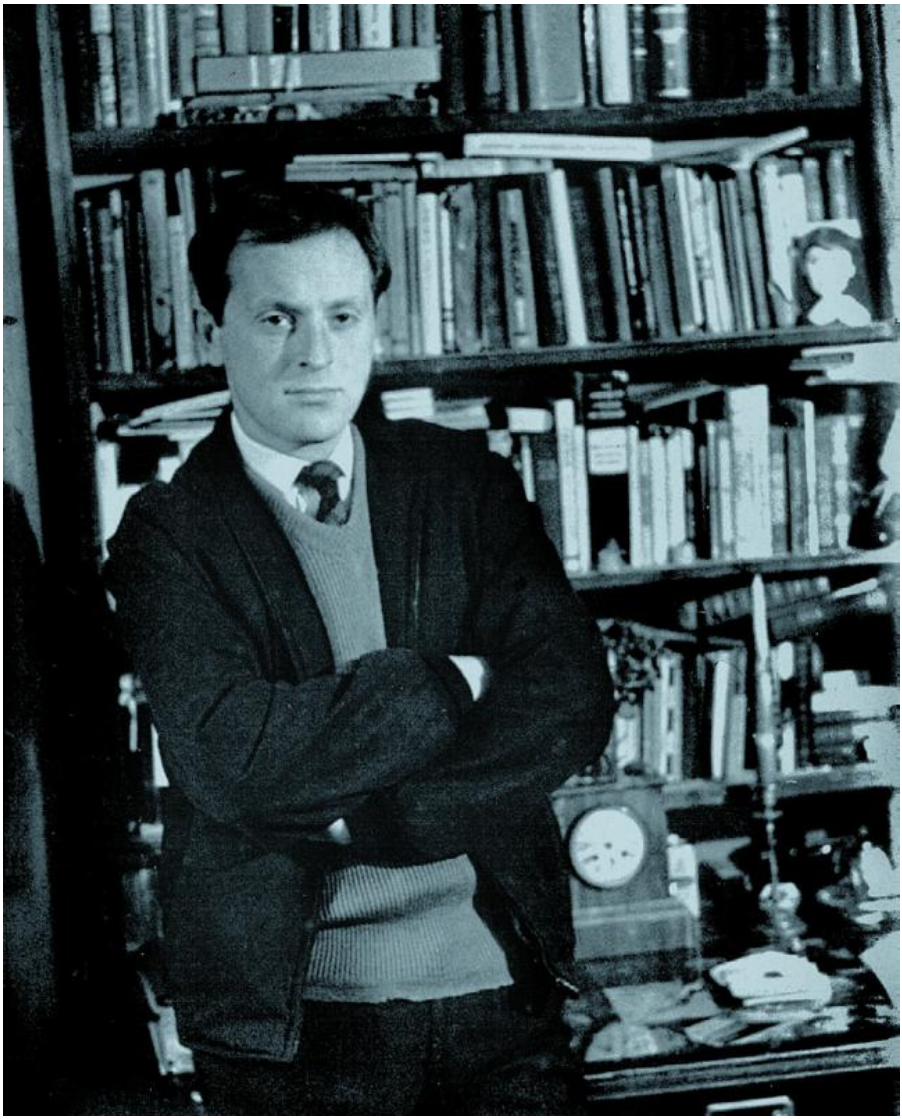
Иосиф Бродский был самым лучшим из людей и самым худшим. Он не был образцом справедливости и терпимости. Он мог быть таким милым, что через день начинаешь о нем скучать; мог быть таким высокомерным и противным, что хотелось, чтобы под ним разверзлась клоака и унесла его. Он был личностью.

Судьбой этого поэта было подняться, как осеннему ястребу, в верхнюю атмосферу, даже если это будет стоить ему всего, что есть. Единственный бог, которому он служил, был бог поэзии, и этому богу он был верным слугой. Верить в высшую силу Иосифа заставляло само присутствие его дара. И, как Блок, он был поэтом каждую минуту своей жизни. Иосиф Бродский был полон огня и предубеждений, он жаждал признания и был гением.

Вот каких, оказалось, я люблю поэтов.

Дейна-Пойнт, 2014 г.

Фото с вкладок



«Двадцать второго апреля 1969 года мы входим в комнатку Бродского, хозяин ее похож на американского выпускника. На нем голубая рубашка и вельветовые брюки. Очень западного вида брюки – прямо вызов режиму». Фото А. И. Бродского. Из собрания М. Мильчика.

«Надежда Мандельштам была одним из первых наших проводников по неведомому советскому миру. Мы согласились встретиться с Бродским просто потому, что она так хотела».

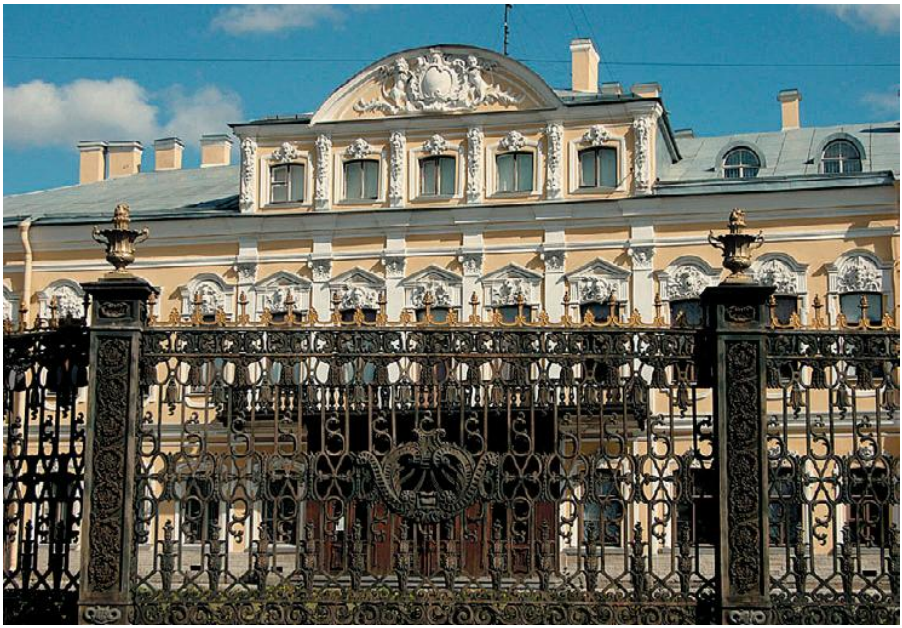
«После нескольких встреч с Надеждой Яковлевной наедине мы были приглашены на суаре в её маленькой квартире. Она позвала интересных людей, в том числе Льва Копелева и Раю Орлову».

Иосиф Бродский, Эллендея Проффер и Андрей Сергеев. Ленинград, недалеко от дома Бродского, декабрь 1970 г. Фото Карла Проффера.

«Андрей сыграл важную роль в литературном развитии Иосифа: ему принадлежат главные переводы Элиота, Фроста и Одена, печатавшиеся в журнале „Иностранная литература“».

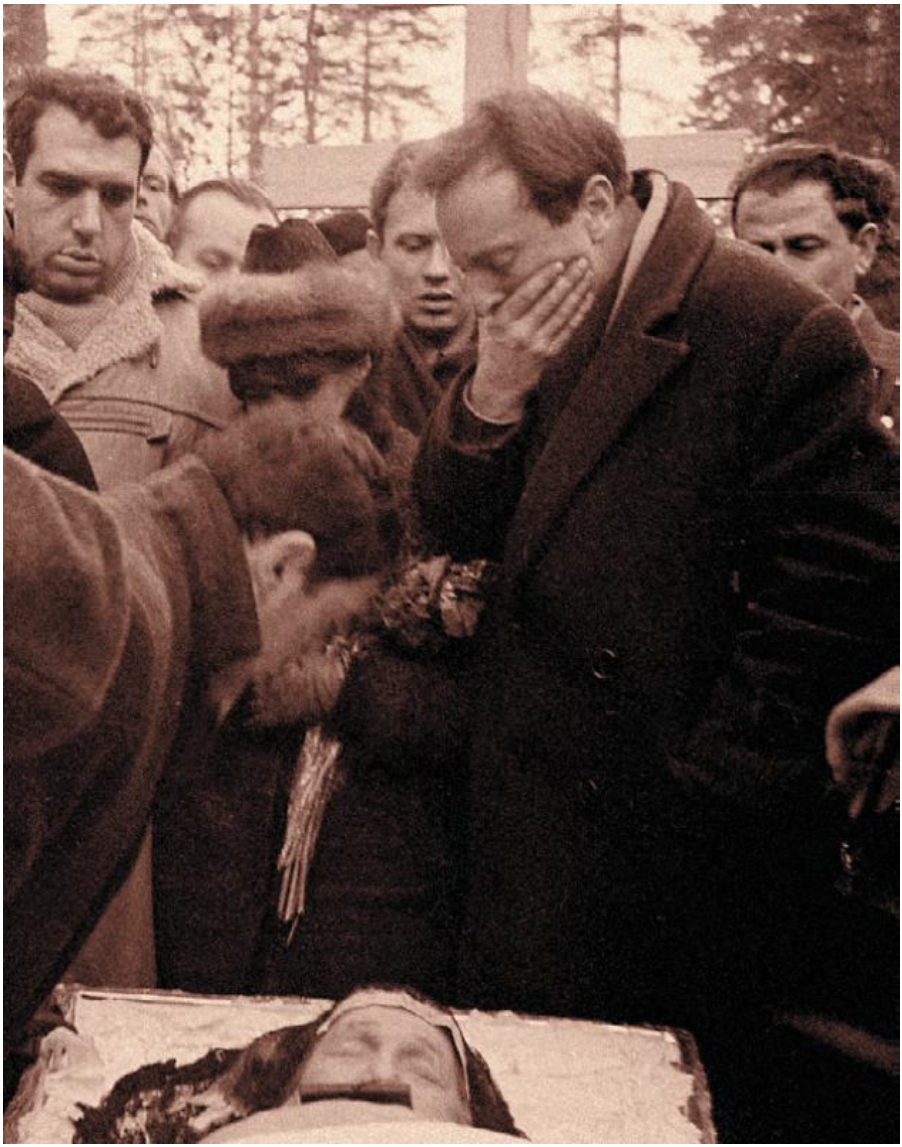
Дом Мурузи, где в «полутора комнатах» жил Бродский.

Дом Набоковых на Морской.

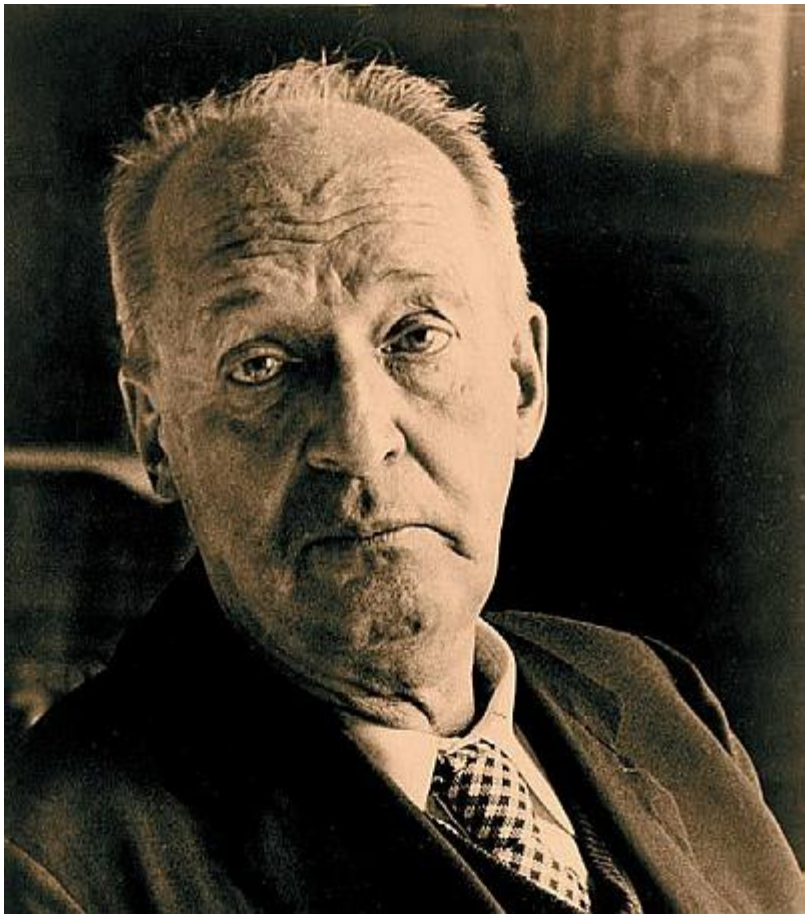


Фонтанный дом.

«Общим у этих трех мест было их расположение в центре – хорошие адреса и под царским, и под советским небом».

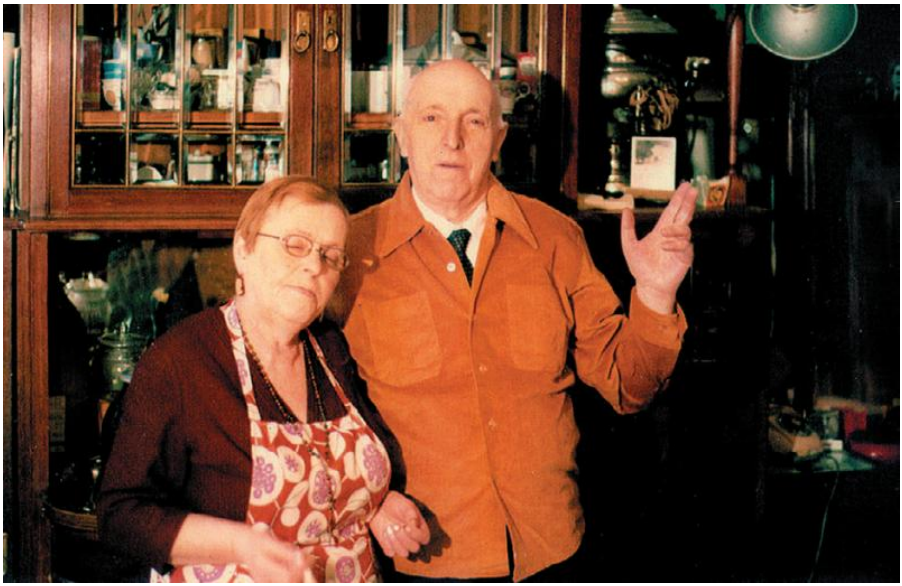


«В разговорах его часто всплывало имя Анны Ахматовой… Она была первым знаменитым наставником Иосифа». У гроба Ахматовой, 10 марта 1966 г. Фото Б. Шварцмана.



«…Набоков послал нам деньги, чтобы мы купили подарки Надежде Мандельштам и Иосифу Бродскому и привезли им, когда поедем туда в следующий раз».

В комнате Иосифа в Ленинграде. Слева направо: Карл, Кристофер, Иосиф, Эндрю, Иэн, Эллендея, декабрь 1970 г. Фото А. И. Бродского.



Родители Иосифа Александр Иванович и Мария Моисеевна у

себя дома. «Для них было нешуточным ударом, когда его приговорили к ссылке, а их самих лишили пенсии и вынудили снова искать работу.»

«Марина Басманова была похожа на шведскую актрису, которая запала в душу отрока Иосифа».

«Документы обошлись ему в тысячу долларов, половина – истинно русский выверт – за лишение советского гражданства!» Бродский в аэропорту Пулково, 4 июня 1972 г. Фото М. Мильчика.

«Первое утро Иосифа Бродского в Америке. Я спустилась вниз и увидела растерянного поэта. Сжимая голову ладонями, он сказал: „Все это сюрреально“».

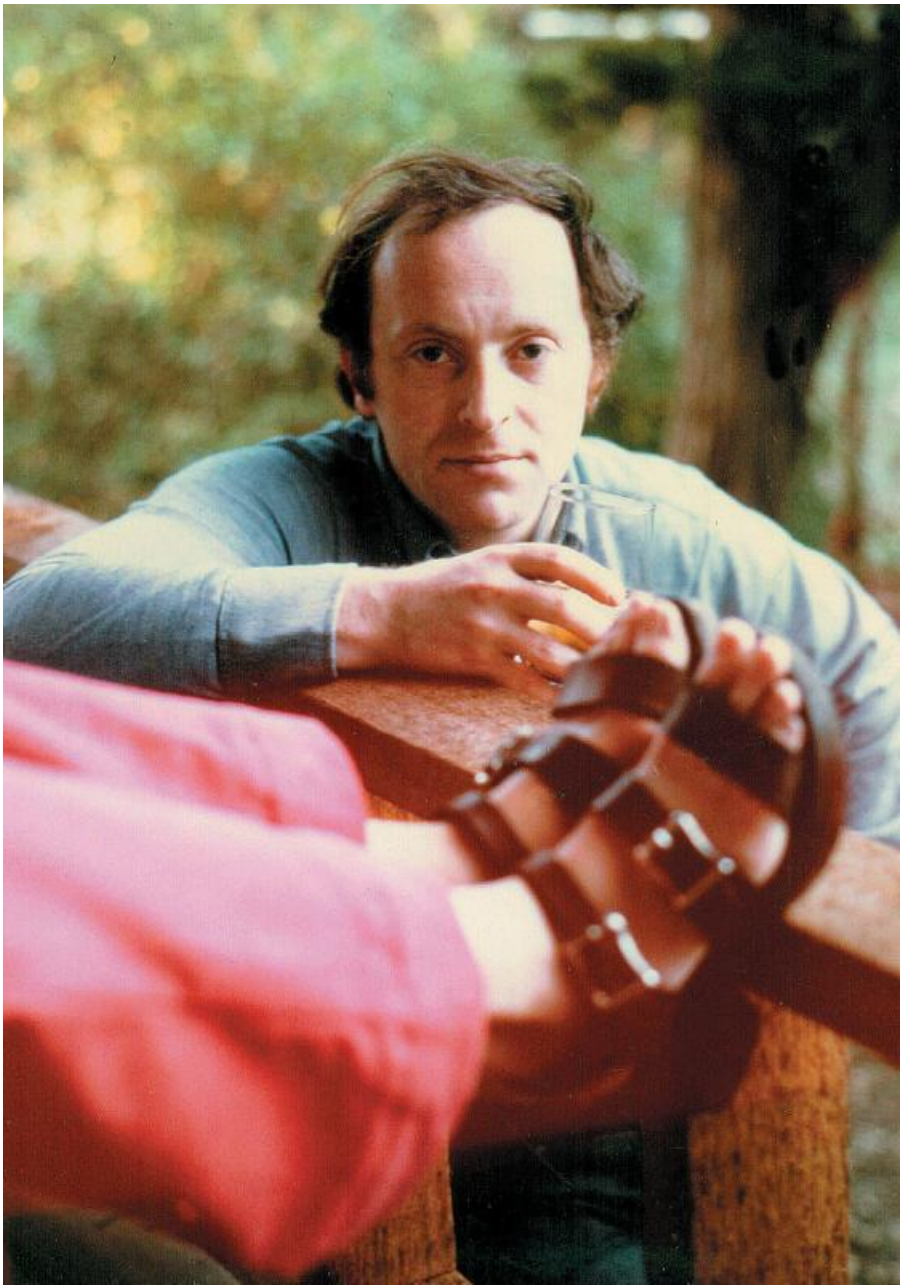
Первое занятие в университете. Энн-Арбор, сентябрь 1972 г. «Он являл собой образец того, с чем редко встречались эти студенты, – размышляющего вслух поэтического гения».

Иосиф, Карл и Эллендея в Сан-Франциско, 1972 г.

«Позже в своих интервью Иосиф говорил, что мичиганские годы были его единственным детством». Бродский в тулупе Карла у дверей «Ардиса». Энн-Арбор, 1970-е.

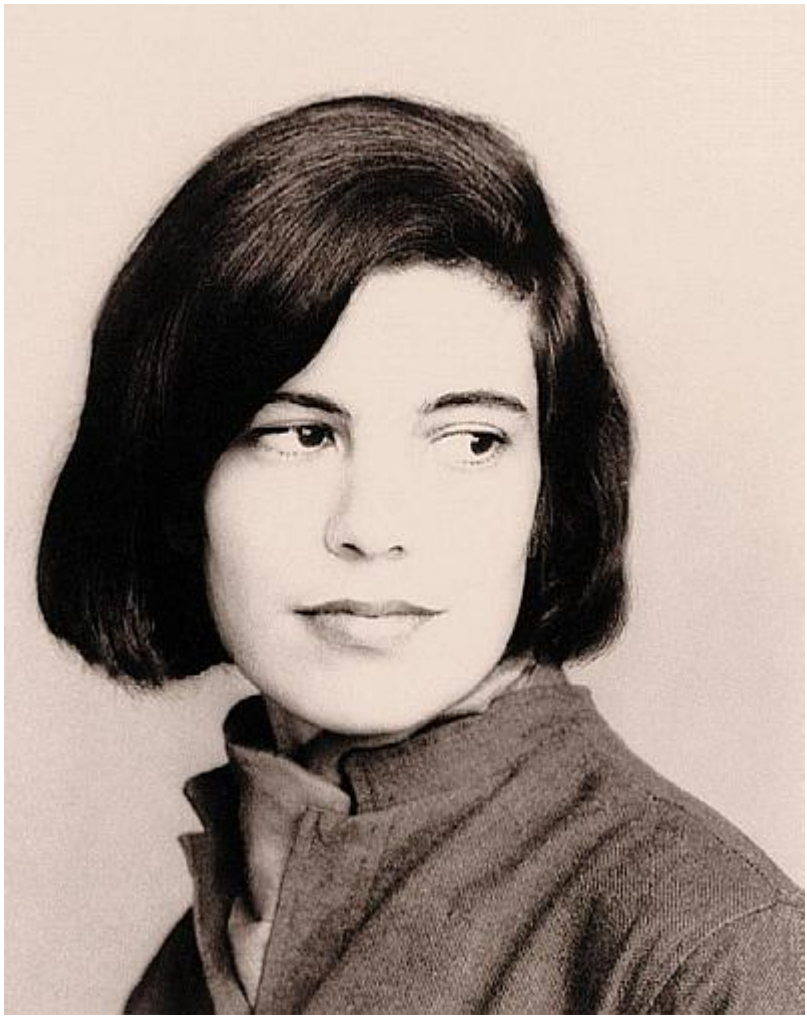
«Наш дом и наша компания стали частью его мира, и он распоряжался этим, как считал нужным». Вверху: Иосиф Бродский, 1972 г. Внизу: Иосиф Бродский, Эллендея Проффер, Маша Слоним и Василий Аксенов перед домом Профферов (машина принадлежит Бродскому). Энн Арбор, 1975 г.

MEXICO



«Виделись мы с Иосифом ежедневно, обычно за ужином, он выглядел энергичным и жизнерадостным независимо от того, как в это время шли дела».

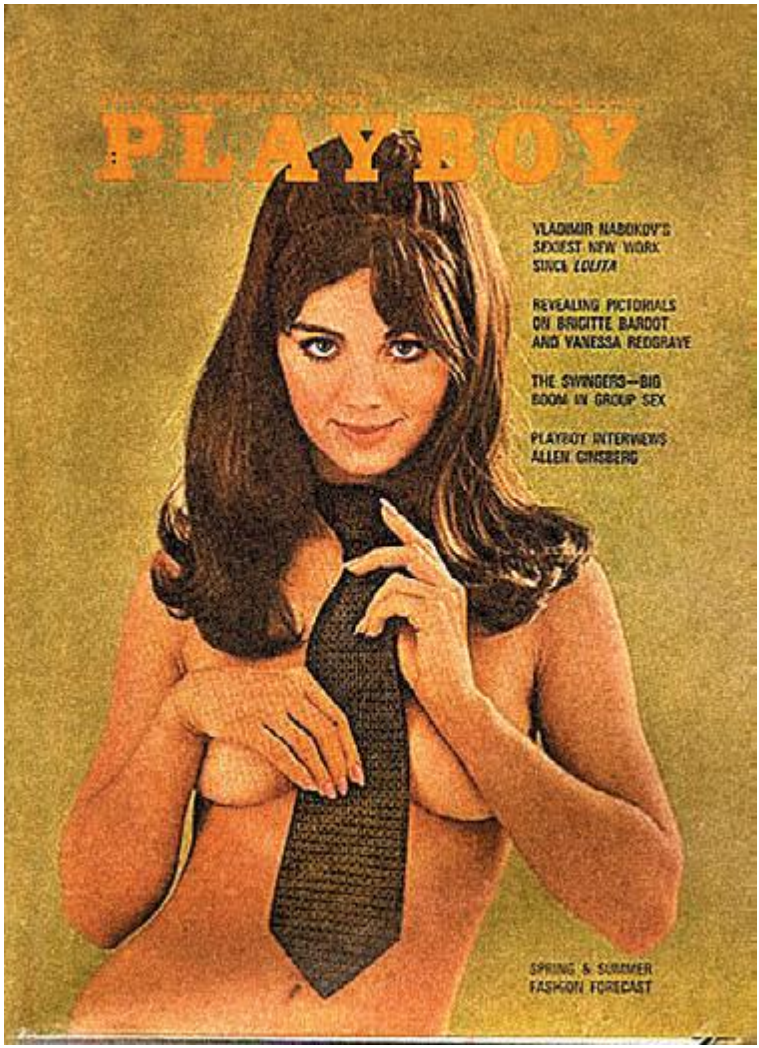
«Для него радикальной позицией была традиционная позиция… На Иосифа больше всего повлияли Оден и Фрост, поэты очень не русские. Ему нравится их сдержанность, ирония и техническое мастерство». Вверху: Уистен Хью Оден и Роберт Фрост.

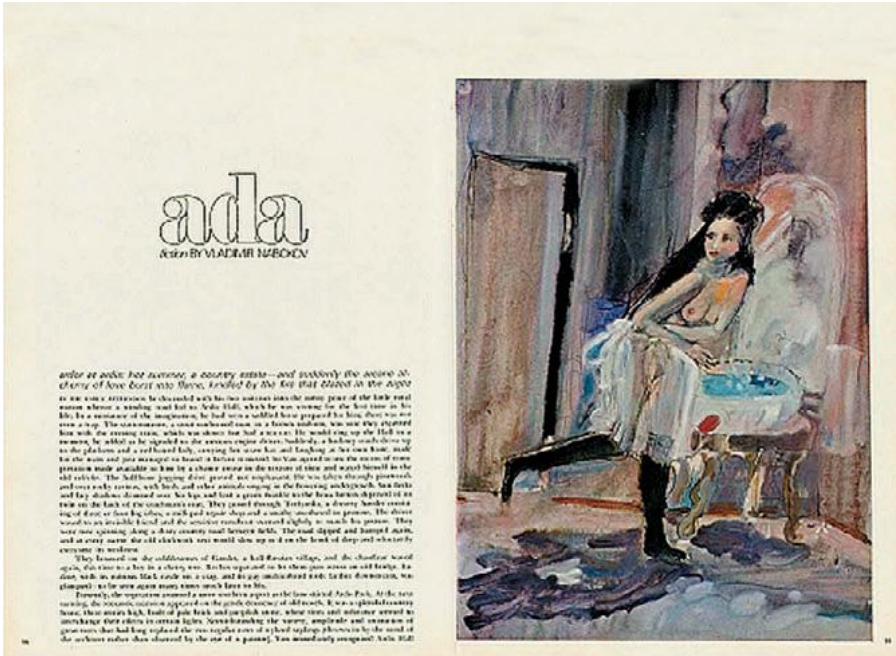


«Когда Иосиф привел в дом Сьюзен Сонтаг, он первым делом сказал мне по-русски: „Это не те вещи“, что означало: это дружба и ничего больше».

«Анн-Арбор был маленький город; Ленинград– большой город; Нью-Йорк же был целым неохватным миром. Нью-Йорк ему подходил: городской мальчик, он любил его». 1977 г. Фото Л. Лосева.

«После первых поездок в СССР… Карл задумался об издании журнала, посвященного писателям Серебряного века… и новым писателям, заслуживающим перевода».


PLAYBOY
VLADIMIR NABOKOV'S
SEXIEST NEW WORK
SINCE LOLITA
REVEALING PICTORIALS
ON BRIGITTE BARDOT
AND VANESSA REDGRAVE
THE SWINGERS—BIG
BOOM IN GROUP SEX
PLAYBOY INTERVIEWS
ALLEN GINSBERG
SPRING & SUMMER
FASHION FORECAST

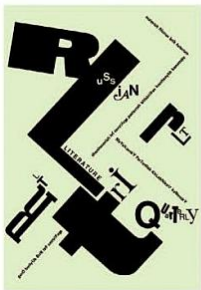

ada

fiction BY VLADIMIR NABOKOV

«…Когда пришла пора в 1971 году дать имя издательству, пока существовавшему только у нас в голове, Карл подумал о набоковской „Аде“, действие которой происходит в мифической стране, с чертами и России, и Америки, в поместье „Ардис“». Вверху: первая публикация романа В. Набокова «Ада». Playboy, April, 1969.

В издательстве «Ардис».

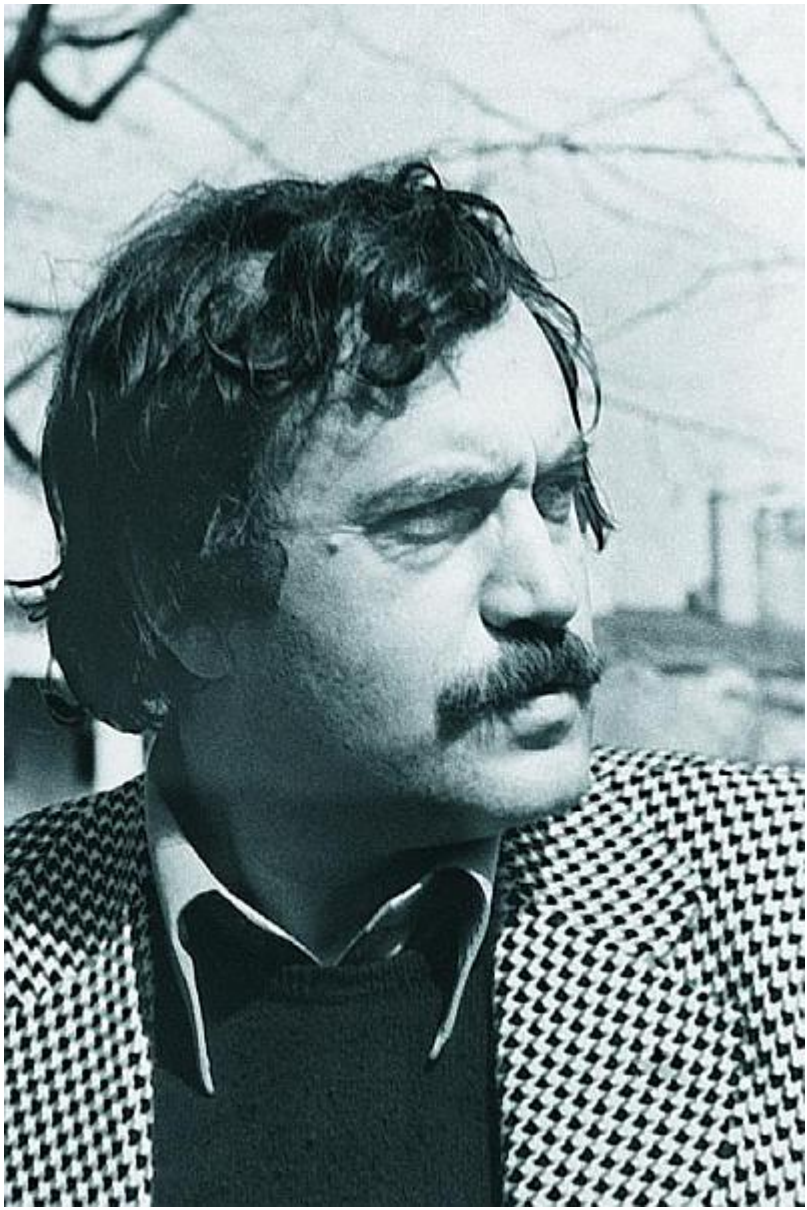
«Мы знали наших авторов… но не знали своих читателей за пределами Москвы и Ленинграда и, наверное, так и не познакомились бы с ними, если бы не Московские книжные ярмарки». Карл Проффер в Москве на ВДНХ в дни работы Книжной ярмарки, 1977 г.



«В поисках подходящей эмблемы издательства я просмотрела все купленные книги по русскому искусству и остановилась на гравюре Фаворского с каретой. Пушкин сказал, что переводчики – почтовые лошади просвещения – вот и дилижанс».

«Половину книг мы печатали на русском (всего Набокова и Бродского, репринты редких книг), а половину на английском (переводы и ученые монографии)».

«Беллу Ахмадулину, прекрасного поэта и очень порядочного человека, мы знали и любили, и тяжело было слушать, как Иосиф ругает ее, даже несколько истерично. Ни в каких компромиссах она не была повинна, единственный ее грех, помимо славы, – то, что она бывшая жена Евтушенко». Фото © Минев, РИА Новости. Фото © А. Невежин, РИА Новости.



«Аксенов был великодушен по отношению к другим писателям и терпим к их причудам. Он был на восемь лет старше Иосифа, и взгляд на мир у него был значительно шире». Фото © РИА Новости.

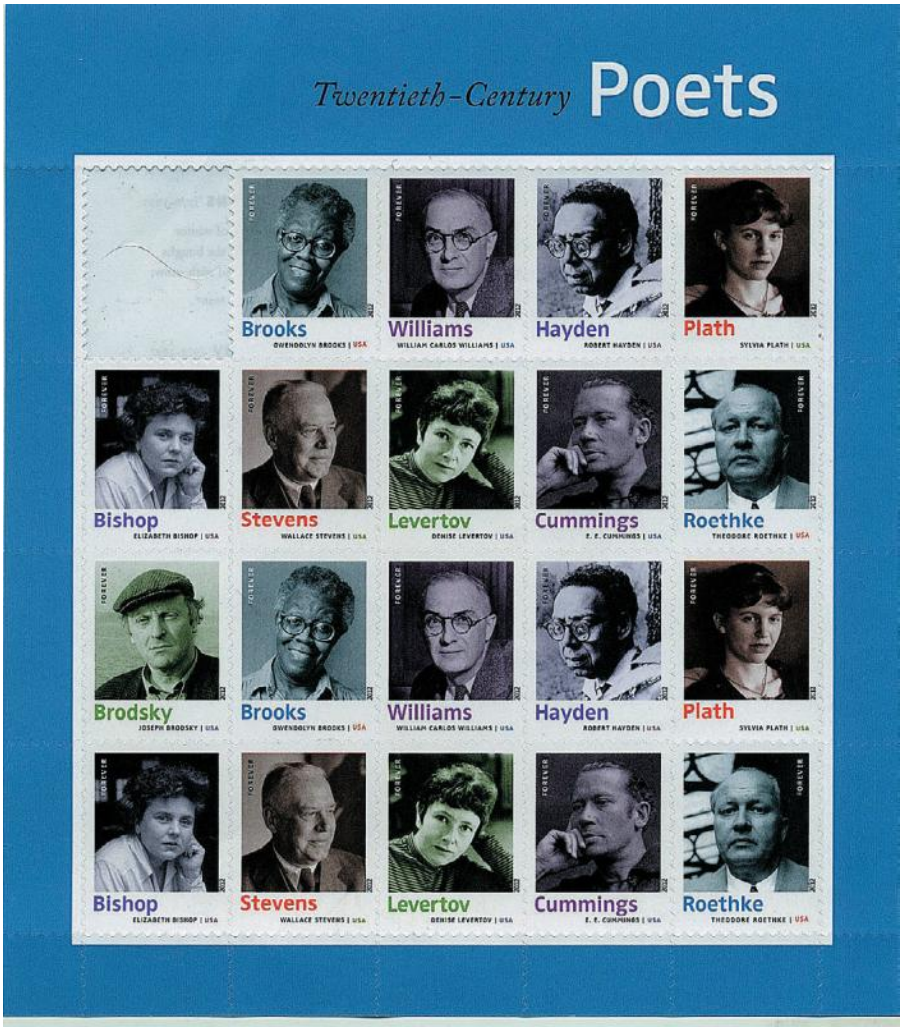
«Иосиф часто приезжал в Энн-Арбор, иногда с нью-йоркскими друзьями, например с Михаилом Барышниковым, совершенно очаровательным человеком и близким другом Иосифа».

Портрет Карла, сделанный Иосифом. Энн-Арбор, 24 февраля 1981 г.

Карл и Элленде́я в «Ардисе», в комнате для упаковки книг, 1979 г.

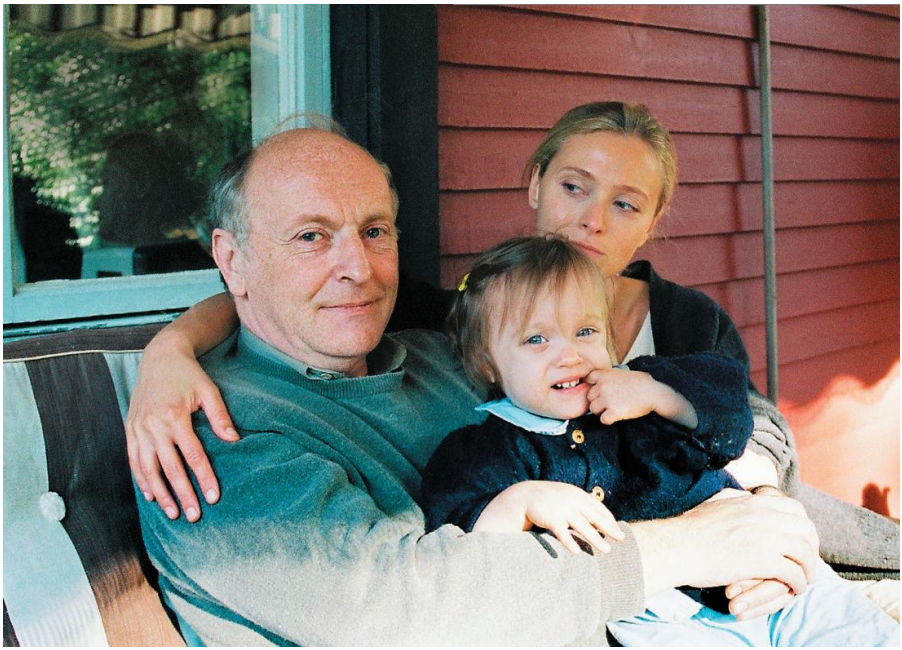
«Я руководила „Ардисом“ с 1982 года, когда Карлу поставили диагноз и он сосредоточился на написании „Вдов России“, до 2002-го…»

«Иосиф Бродский, нобелевский лауреат по литературе и единственный русский, ставший американским поэтом-лауреатом» в «своем» кругу. По часовой стрелке от Бродского: Шеймас Хини, Роберт Пински, Дерек Уолкотт, Лесли Эпстайн, Сол Беллоу и Кристофер Рикс. Трое из них – также лауреаты Нобелевской премии. Бостон.



«В Америке есть марка с Бродским, есть аэрофлотовский самолет с его именем…»

«Более счастливого Иосифа я никогда невидела. Он был ошеломлен, смущен, но, как всегда, на высоте положения…» Перед церемонией вручения Нобелевской премии, 10 декабря 1987 г. Фото Л. Лосева.



«Не помню, сказал ли он это о Марии тогда или потом, по телефону, но на мои слова, что она мне показалась хорошим человеком, ответил: „Она чистая и снаружи, и с изнанки“. И я поняла: он чувствует, что она слишком хороша для него».

Остров Торё. Бродский с женой и годовалой дочерью Анной. Август 1994 г. Фото Б. Янгфельдта. © Hylaea Produktion

«„В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем…“, – писал Мандельштам… Русофилка во мне хотела бы, чтобы Бродский был похоронен в этом городе, но как человек, близко знавший его, могу сказать уверенно: он был бы рад узнать, что его похоронят на острове Сан-Микеле в Венецианской лагуне, рядом с Дягилевым и Стравинским».

Книги издательства “Ардис” (1971–1996) На русском

языке

Аввакум, см.: *Житие протопопа Аввакума*

Аксенов В. *Бумажный пейзаж*, 1983

Аксенов В. *Золотая наша железка*, 1980

Аксенов В. *Ожог*, 1980

Аксенов В. *Остров Крым*, 1981

Аксенов В. *Скажи изюм*, 1985

Аксенов В. *Собрание сочинений*. Том I: *Коллеги, Звездный билет,* 1988

Алешковский Ю. *Кенгуру*, 1981

Алешковский Ю. *Николай Николаевич. Маскировка*, 1980

Альтшуллер М. *Предтечи славянофильства в русской литературе*, 1984

Амальрик А. *Записки диссидента*, 1982

Анненский И. *Кипарисовый ларец,* 1982

Ахматова А. *Anno Domini* MCMXXI, 1977

Ахматова А. *Белая стая,* 1979

Ахматова А. *Подорожник*, 1977

Ахматова А. *Поэма без героя*, 1978

Ахматова А. *Стихи, воспоминания, иконография*, 1977

Ахматова А. *Четки*, 1972

Бабель И. *Блуждающие звезды*, 1972

Бабель И. *Забытые произведения*, 1979

Бабель И. *Конармия*, 1982

Бабель И. *Петербург, 1918*, 1989

Бегак Б. *Русская литературная пародия*, 1980

Белозерская-Булгакова Л. Е. *О, мед воспоминаний,* 1979

Белый А. *Мастерство Гоголя,* 1982

Белый А. *Почему я стал символистом,* 1982

Белый А. *Серебряный голубь,* 1979

Бем А. Л. *Достоевский. Психоаналитические этюды,* 1983

Бенет С. В. *Тело Джона Брауна,* 1979

Берман Ф. *Регистратор,* 1984

Биргер Б. *Каталог*, 1975

Битов А. *Пушкинский дом*, 1978

Блок А. *Двенадцать*, 1972

Бродский И. *Конец прекрасной эпохи*, 1977

Бродский И. *Мрамор,* 1984

Бродский И. *Новые стансы к Августе*, 1983

Бродский И. *Остановка в пустыне*, 1988

Бродский И. *Пейзаж с наводнением*, 1996

Бродский И. *Урания, 1987*

Бродский И. *Часть речи*, 1977

Булгаков М. *Дьяволиада*, 1976

Булгаков М. *Зойкина квартира*, 1971
Булгаков М. *Неизданный Булгаков*, 1977
Булгаков М. *Собрание сочинений*:
– Том I: *Ранняя проза*, 1982
– Том II: *Ранняя проза*, 1985
– Том III: *Повести*, 1983
– Том IV: *Белая гвардия*, 1989
– Том VIII: *Мастер и Маргарита*, 1988
Булгаков М. *Фотобиография*, 1984
Вагинов К. *Гарпагониада*, 1983
Вагинов К. *Стихи*, 1978
Вагинов К. *Путешествие в хаос*, 1972
Вайль П. и Генис А. *60-е. Мир советского человека*, 1988
Варламова И. *Мнимая жизнь*, 1978
Вахтин Б. *Две повести*, 1982
Введенский А. *Полное собрание сочинений*: В 2 т. 1980
Вересаев В. В. *Гоголь в жизни*, 1983
Вересаев В. В. *Как работал Гоголь*, 1983
Виноградов В. В. *Стиль прозы Лермонтова*, 1985
Войнович В. *Антисоветский Советский Союз*, 1985
Войнович В. *Иванькиада*, 1976
Войнович В. *Москва 2042*, 1987
Войнович В. *Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина:* В 2 т. 1985
Воронский А. *Статьи*, 1980
Газданов Г. *Вечер у Клэр*, 1979
Гершензон М. О. *Мудрость Пушкина*, 1983
Гиппиус З. *Письма к Берберовой и Ходасевичу*, 1978
Глагол: Литературный альманах. Том I, 1977; Том II, 1978; Том III, 1981
Гладилин А. *Большой беговой день*, 1983
Гладилин А. *Каким я был тогда*, 1986
Горбаневская Н. *Деревянный ангел*, 1983
Горбаневская Н. *Побережье*, 1973
Гумилев Н. *Костер*, 1979
Гумилев Н. *Огненный столп*, 1975
Гумилев Н. *К синей звезде,* 1986
Довлатов С. *Наши*, 1983
Довлатов С. *Невидимая книга,* 1978
Довлатов С. *Ремесло,* 1985
Достоевский Ф. М. *Записки из подполья,* 1982
Дурылин С. *“Герой нашего времени” М. Ю. Лермонтова,* 1984
Евреинов Н. *Самое главное,* 1980
Евреинов Н. *Фотобиография*, 1981

Ермаков И. Д. *Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина,* 1980
Есенин С. *Избранные стихи,* 1979
Ефимов И. *Практическая метафизика,* 1980
Ефимов И. *Как одна плоть,* 1981
Жар-птица: журнал. № 1
Житие протопопа Аввакума, написанное им самим, 1982
Заболоцкий Н. *Столбцы,* 1975
Замятин Е. *Наводнение*, 1976
Замятин Е. *Нечестивые рассказы,* 1978
Замятин Е. *Островитяне*, 1979
Зеркалов А. *Евангелие Михаила Булгакова*, 1983
Зощенко М. *Рассказы*, 1979
Зощенко М. *Неизданный Зощенко*, 1977
Зощенко М. и Пильняк Б. *Статьи и материалы*, 1971
Зунделович Я. *Романы Достоевского*, 1984
Иванов В. и Гершензон М. О. *Переписка из двух углов*, 1980
Искандер Ф. *Кролики и удавы*, 1982
Искандер Ф. *Новые главы. Сандро из Чегема*, 1981
Искандер Ф. *Сандро из Чегема*, 1979
Кайзер Р. *Россия: Власть и народ*, 1979
Каталог: литературный альманах, 1982
Кенжеев Б. *Изб ранная лирика. 1970–1981*, 1984
Киреевский И. *Полное собрание сочинений*: В 2 т., 1983
Копелев Л. *Вера в слово*, 1977
Копелев Л. *Держава и народ*, 1982
Копелев Л. *И сотворил себе кумира*, 1978
Копелев Л. *Утоли моя печали*, 1981
Копелев Л. *Хранить вечно*, 1975
Коэн С. *Бухарин* [with Strathcona Press], 1980
Крепс М. *О поэзии Иосифа Бродского*, 1984
Кублановский Ю. *Избранное*, 1981
Кузмин М. *Вожатый*, 1979
Кузмин М. *Занавешенные картинки*, 1972
Кузмин М. *Крылья*, 1979
Кузмин М. *Форель разбивает лед*, 1978
Лимонов Э. *Русское*, 1979
Липкин С. *Воля*, 1981
Липкин С. *Кочевой огонь*, 1984
Липкин С. *Сталинград Василия Гроссмана*, 1986
Лиснянская И. *Стихотворения*, 1984
Мандельштам О. *Воронежские тетради*, 1980
Мандельштам О. *Камень*, 1971
Мандельштам О. *Проза*, 1983

Мандельштам О. *Разговор о Данте*, 1983
Мандельштам О. *Tristia*, 1972
Мандельштам О. *Египетская марка,* 1977
Марамзин В. *Блондин обеего цвета*, 1975
Марамзин В. *Тянитолкай*, 1981
Маяковский В. *Про это*, 1973
Маяковский В. *Владимир Маяковский. Трагедия,* 1977
Метрополь: Литературный альманах, 1979
Милославский Ю. *От шума всадников и стрелков*, 1984
Милош Ч. *Поэтический трактат*, 1982
Минчин А. *Псих*, 1995
Михайлов М. *Планетарное сознание*, 1982
Набоков В. *Аня в стране чудес,* 1982
Набоков В. *Бледный огонь,* 1983
Набоков В. *Весна в Фиальте*, 1978
Набоков В. *Возвращение Чорба,* 1976
Набоков В. *Дар,* 1975
Набоков В. *Другие берега,* 1978
Набоков В. *Защита Лужина,* 1979
Набоков В. *Камера обскура,* 1978
Набоков В. *Король дама валет*, 1979
Набоков В. *Лолита*, 1976
Набоков В. *Машенька*, 1974
Набоков В. *Отчаяние*, 1978
Набоков В. *Переписка с сестрой*, 1985
Набоков В. *Пнин*, 1983
Набоков В. *Подвиг*, 1974
Набоков В. *Приглашение на казнь,* 1979
Набоков В. *Собрание сочинений:*
– Том I: *Король дама валет, Машенька,* 1987
– Том III: *Соглядатай, Волшебник,* 1991
– Том VI: *Дар,* 1989
– Том X: *Лолита,* 1989
Набоков В. *Соглядатай,* 1978
Набоков В. *Стихи,* 1979
Наппельбаум М. *Наш век,* 1983
Неуслышанные голоса. Документы Смоленского архива / Сост. С. Максудов, 1987
О Федоре Сологубе / Критика, статьи и заметки / Сост. А. Чеботаревская, 1983
Окуджава Б. *65 песен.* Том I, 1980; Том II, 1986
Олеша Ю. *Зависть,* 1977
Орлова Р. *Воспоминание о непрошедшем времени,* 1983
Орлова Р. *Хемингуэй в России,* 1985

Орлова Р, Копелев Л. *Мы жили в Москве,* 1988
Паперный В. *Культура "два". Советская архитектура 1932–1954,* 1985
Парнок С. *Собрание стихотворений,* 1979
Пастернак Б. *Воздушные пути,* 1976
Пастернак Б. *Сестра моя жизнь,* 1976
Пастернак Б. *Темы и вариации,* 1972
Патера Т. *Обзор творчества Юрия Трифонова,* 1983
Пильняк Б. *Голый год,* 1979
Пильняк Б. *Красное дерево,* 1979
Платонов А. *Котлован,* 1973
Платонов А. *Шарманка,* 1975
Полякова С. *Осип Мандельштам*, 1989
Полякова С. *Закатные оны дни: Цветаева и Парнок*, 1983
Попов Е. *Веселие Руси,* 1981
Портфель: Литературный альманах, 1996
Пушкин А. *Путешествие в Арзрум,* 1978
Смит М. *Парк имени Горького,* 1985
Соболь А. *Любовь на Арбате,* 1979
Современные записки (№ 70, 1940), 1983
Соколов С. Между собакой и волком, 1980
Соколов С. *Палисандрия,* 1985
Соколов С. *Школа для дураков,* 1976
Сологуб Ф. *Мелкий бес,* 1979
Соснора В. *Избранное,* 1987
Стрелец (№ 1), 1978
Творчество Платонова / Статьи и сообщения / Сост. В. Скоболев, 1986
Суслов А. *Шесть сонмов. Плакун-город*, 1986
Томашевский Б. *Теория литературы,* 1972
Трифонов Ю. *Дом на набережной,* 1983
Тынянов Ю. *Архаисты и новаторы*, 1985
Уфлянд В. *Те ксты 1955–77,* 1978
Хаксли О. *Кром желтый,* 1983
Хлебников В. *Зангези,* 1984
Ходасевич В. *Из еврейских поэтов,* 1983
Ходасевич В. *Письма В. Ф. Ходасевича к Борису Садовскому*, 1983
Ходасевич В. *Статьи о литературе*, 1979
Ходасевич В. *Собрание сочинений*: В 2 т. 1983, 1989
Ходасевич В. *Тяжелая лира*, 1975
Цветаева М. *Версты*, 1972
Цветаева М. *Лебединый стан*, 1980
Цветаева М. *После России*, 1992

Цветаева М. *Фотобиография*, 1980
Цветков А. *Сборник пьес для жизни соло*, 1978
Цветков А. *Состояние сна*, 1981
Цветков А. *Эдем,* 1985
Цех поэтов (№ 1), 1978
Чаадаев П. *Философические письма,* 1978
Чуковский К. *Поэт и палач,* 1976
Шварц Е. *Труды и дни Лавинии,* 1987
Шестов Л. *Начала и концы,* 1978
Шестов Л. *Тургенев*, 1982
Шкловский В. *О теории прозы*, 1985
Эйхенбаум Б., Виноградов В., Жирмунский В. *Анна Ахматова: Три книги*, 1990
Эльбаум Г. *Анализ иудейских глав "Мастера и Маргариты" М.Булгакова*, 1981
Эрдман Н. *Самоубийца*, 1980
Юрьенен С. *Скорый в Петербург*, 1989
Юрьенен С. *Сын империи*, 1986

На английском языке

Abramov Fyodor. *Two Winters and Three Summers*, 1984
Akhmatova Anna. *My Half Century. Selected Prose*, 1992
Akhmatova Anna. *A Poem Without a Hero*, 1973
Akhmatova Anna. *Selected Poems*, 1976
Aksyonov Vassily. *The Destruction of Pompeii & Other Stories*, 1991
Aksyonov Vassily. *Our Golden Ironburg*, 1989
Aksyonov Vassily. *The Steel Bird & Other Stories,* 1979
Aksyonov Vassily. *Surplussed Barrelware,* 1985
Andreyeva-Chernov Olga. *Cold Spring in Russia,* 1978
Annensky Innokenty. *The Cypress Chest / Kiparisovyi larets,* bilingual, 1982
Antonych Bohdan. *Square of Angels: Selected Poems*, 1977
Arndt Walter ed. *Pushkin Threefold: Narrative Lyric Polemic and Ribald Verse*, first Ardis ed., 1993
Babel Isaak. *The Forgotten Prose*, 1978
Bakhtin Mikhail. *Problems of Dostoevsky's Poetics*, 1973
Bakunin Mikhail. *From Out of the Dustbin*, 1984
Barabtarlo Gennadi. *Phantom of Fact: A Guide to Nabokov's Pnin*, 1989
Belknap Robert L. ed. Russianness: *In Memory of Rufus W. Mathewson*, 1990
Belozerskaya Lyubov. *My Life with Mikhail Bulgakov*, 1983
Bely Andrei. *Complete Short Stories*, 1979
Bely Andrei. *Kotik Letaev*, 1971

Bialoszewski Miron. *A Memoir of the Warsaw Uprising*, 1977

Birger Boris. *Catalogue*, 1975

Bitov Andrei. *Life in Windy Weather*, 1986

Bitov Andrei. *Pushkin House*, 1990

Bitsilli Peter. *Chekov's Art*, 1983

Boyd Brian. *Nabokov's "Ada": The Place of Consciousness*, 1985

Brodsky Joseph. *A Stop in the Desert,* broadside, 1973

Brown Edward J. "*Brave New World", "1984" and* "*We ". An Essay on Anti-Utopia*, 1976

Brown Nathalie Babel. *Hugo & Dostoevsky*, 1978

Brown William Edward. *A History of 18th-Century Russian Literature*, 1980

Brown William Edward. *A History of Russian Literature of the Romanic Period 4 vols*., 1986

Brown William Edward. *A History of 17th-Century Russian Literature*, 1980

Browning Gary. *Boris Pilniak*, 1985

Bulgakov Mikhail. *Diaboliad and Other Stories* [second edition], 1992

Bulgakov Mikhail. *The Master and Margarita*, 1995

Bulgakov Mikhail. *Notes on the Cuff & Other Stories*, 1991

Cattafi Bartolo. *The Dry Air of Fire & Other Poems*, 1982

Cerny Vaclav. *Dostoevsky and His "Devils"*, 1975

Chapple R. *A Dostoevsky Dictionary*, 1982

Charents Eghishe. *Land of Fire: Selected Poems*, 1986

Chernyshevsky Nikolai. *What Is to Be Done?* 1988

Chudakov A. P. *Chekhov's Poetics*, 1983

Chukovsky Kornei. *Alexander Blok as Man and Poet*, 1982

Chukovsky Kornei. *Poet and Hangman, Nekrasov and Muravyov*, 1977

Cioran Samuel D. *The General's Daughter,* bilingual, 1993

Cioran Samuel D. *Russian Alive!* bilingual, 1992

Cioran Samuel D. *Welcome to Divnograd,* bilingual, 1992

Cohen Arthur A. *Osip Emilievich Mandelstam: An Essay in Antiphon*, 1974

Conant Roger. *The Political Poetry and Ideology of F. I. Tiutchev*, 1983

Davies Jessie. *Esenin: A Biography in Memoirs Letters and Essays*, 1982

De Quille Dan. *Dives and Lazarus,* 1988

Dostoevsky Fyodor. *The Complete Letters* 5 vols., 1988–91

Dostoevsky Fyodor. *The Crocodile: An Extraordinary Event or a Show in the Arcade*, 1985

Dostoevsky Fyodor. *The Double*: Two Versions, 1985

Dostoevsky Fyodor. *Poor Folk*, 1983

Dostoevsky Fyodor. *The Unpublished Dostoevsky: Diaries and Notebooks, 1860-81,* 3 vols., 1973–76

Dovlatov Sergei. *Inostranka: A Russian Reader*, bilingual, 1995

Dovlatov Sergei. *The Invisible Book,* 1979

Durova Nadezhda. *The Cavalry Maid: The Memoirs of a Woman Soldier of 1812*, 1988

Eikhenbaum Boris. *Lermontov*, 1981

Eikhenbaum Boris. *Russian Prose*, 1985

Eikhenbaum Boris. *Tolstoi in the Sixties*, 1982

Eikhenbaum Boris. *Tolstoi in the Seventies*, 1982

Eikhenbaum Boris. *The Young Tolstoi*, 1972

Erdman Nikolai. *"The Mandate" and "The Suicide",* 1975

Evreinov Nikolai. *Life as Theater: Five Modern Plays by Nikolai Evreinov*, 1973

Fetzer Leland ed. *Pre-Revolutionary Russian Science Fiction*, 1982

Fiene Donald. *Alexander Solzhenitsyn: An International Bibliography*, 1973

Fisher Lynn and Fisher Wesley. *The Moscow Gourmet.*

Dining Out in the Capital of the USSR. A Guide, 1974

Floridi Alexis U. *Moscow and the Vatican*, 1986

Fodor Alexander. *Tolstoy and the Russians: Reflections on a Relationship*, 1984

Fonvizin Denis. *The Political and Legal Writings of Denis Fonvizin*, 1985

Fowler Douglas. *A Reader's Guide to Gravity's Rainbow*, 1980

Frantz Phillip. *Gogol: A Bibliography*, 1989

Fyodorov Vadim. *An Ordinary Magic Watch*, 1977

Galich Alexander. *Songs and Poems*, 1983

Gazdanov Gaito. *An Evening with Claire*, 1988

George Emery. *The Boy and the Monarch*, 1987

George Emery ed. *Contemporary East European Poetry*, 1983

George Emery. *Kate's Death*, 1980

George Emery. *Voiceprints*, 1987

Gippius Vassily. *Gogol*, 1981

Gladilin Anatoly. *The Making and Unmaking of a Soviet Writer*, 1979

Gladilin Anatoly. *Moscow Racetrack*, 1990

Gogol Nikolai. *Arabesques,* 1982

Gogol Nikolai. *Hanz Kuechelgarten*, 1990

Golovskoy Valery and Rimberg John. *Behind the Soviet Screen: The Motion-Picture Industry in the USSR 1972–1982*, 1986

Goncharov Ivan. *An Ordinary Story*, 1994

Goncharov Ivan. *The Precipice*, 1994

Goscilo Helena. *Lives in Transit: A Collection of Recent Russian Women's Writing*, 1995

Goscilo Helena and Lindsey Byron. *Glasnost: An Anthology of Russian Literature under Gorbachev*, 1990

Goscilo Helena and Lindsey Byron. *The Wild Beach and Other Stories*, 1992

Green Michael. *The Russian Symbolist Theatre*, 1986

Green Michael and Katsell Jerome. *The Unknown Russian Theater*, 1991

Grin Alexander. *Selected Short Stories*, 1987

Grossman Leonid. *Dostoevsky and Balzac*, 1973

Gumilev Nikolai. *On Russian Poetry*, 1977

Gur Arieh. *The Escape from Kiev to Tel-Aviv*, 1982

Guro Elena. *The Little Camels of the Sky*, 1983

Hagglund Roger. *Georgy Adamovich: An Annotated Bibliography*, 1985

Hagglund Roger. *A Vision of Unity: Adamovich in Exile*, 1985

Hazan Baruch. *Soviet Impregnational Propaganda*, 1982

Holz Arno. *Dichterjubilaum*, 1978

Innis Joanne et al. *Intermediate & Advanced Russian Reader*, 1983

Iskander Fazil. *The Goatibex Constellation*, 1975

Iskander Fazil. *Rabbits and Boa Constrictors*, 1989

Ivanov Vsevolod. *Armored Train 14–69*, 1978

Johnson D. Barton. *Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov*, 1985

Johnson Lemuel. *Highlife for Caliban*, 1973

Johnson Lemuel. *Hand on the Navel*, 1978

Karges Joann. *Nabokov's Lepidoptera*, 1985

Kataev Valentin. *The Embezzlers*, 1978

Kern Gary ed. *Zamyatin's "We": A Collection of Critical Essays*, 1988

Kern Gary and Collins Christopher eds. *The Serapion Brother: Stories and Essays,* 1975

Khlebnikov Velimir. *Snake Train*, 1976

Kiparsky Valentin. *Russian Historical Grammar*, 1979

Klyuev Nikolai. *Poems*, 1977

Knapp Liza ed. *Dostoevsky as Reformer*, 1987

Kolesnikoff Nina. *Yury Trifonov: A Critical Study*, 1991

Kochina Elena. *Blockade Diary*, 1990

Kostelanetz Richard. *Portraits from Memory,* 1976

Kuzmin Mikhail. *Wings: Prose and Poetry*, 1972

Lauridsen Inger Thorup and Dalgaard Per. *The Beat Generation and the Russian New Wave*, 1990

Lawton Anna. *Vadim Shershenevich. From Futurism to Imaginism*,

1981

Lazard Naomi. *Ordinances*, 1978

Leatherbarrow William and Offord Derek eds. *Documentary History of Russian Thought*, 1987

Lehrman Edgar. *A Guide to the Russian Texts of Tolstoi's "War and Peace"*, 1980

Leiter Sharon. *The Lady and the Bailiff of Time*, 1974

Lermontov Mikhail. *Hero of Our Time,* first Ardis ed., 1988

Lermontov Mikhail. *Vadim,* 1984

Lezhnev Abram. *Pushkin's Prose*, 1983

Lotman Yury. *Analysis of the Poetic Text*, 1976

Lowe David. *Turgenev's "Fathers and Sons"*, 1983

Luckyj George. *Before the Storm: Soviet Ukrainian Fiction of the 1920s*, 1986

Luker Nicholas ed. *An Anthology of Russian Neo-Realism. The "Znanie" School of Maxim Gorky*, 1982

Luker Nicholas ed. *From Furmanov to Sholokhov: An Anthology of the Classics of Socialist Realism*, 1988

Luplow Carol. *Babel's "Red Cavalry"*, 1982

Lvov-Rogachevsky V. *A History of Russian-Jewish Li terature*, 1979

McKain David. *In Touch*, 1975

McVay Gordon. *Esenin: A Life*, 1976

Mcvay Gordon. *Isadora and Esenin*, 1979

Mak Lev. *From the Night & Other Poems*, 1978

Makanin Vladimir. *"Escape Hatch" and "The Long Road Ahead": Two Novellas*, 1996.

Mandelstam Nadezhda. *Mozart and Salieri: An Essay on Osip Mandelstam and Poetic Creativity*, 1973

Mandelstam Osip. *Complete Critical Prose and Letters*, 1979

Mason Bobbie Ann. *Nabokov's Garden. A Guide to "Ada",* 1974

Matich Olga and Heim M eds. *The Third Wave: Russian Literature in Emigration*, 1983

Mendelson Danuta. *Metaphor in Babel's Short Stories*, 1982

Merrill Reed and Frazier Thomas. *Arthur Koestler: An International Bibliography*, 1979

Mersereau John. *Russian Romantic Fiction*, 1983

Mersereau John. *Orest Somov*, 1989

Meyer Priscilla and Rudy Stephen eds. *Dostoevsky & Gogol: Texts and Criticism*, 1979

Mikhailovsky Nikolai. *Dostoevsky: A Cruel Talent*, 1978

Miller Frank. *A Handbook of Russian Verbs,* bilingual, 1988

Miller Tamara. *Bibliographical Index to "Novyi Mir",* 1983

Miloslavsky Yury. *Urban Romances*, 1994

Mochulsky Konstantin. *Andrei Bely*, 1976

Moody Fred. *Ten Bibliographies of Russian Literature*, 1977

Morrison R. H. ed. *America's Russian Poets*, 1975

Nabokov Vladimir trans. *The Song of Igor's Campaign*, 1988

Nagibin Yury. *The Peak of Success & Other Stories*, 1986

Nakhimovsky A. D. and Paperno V. A. *A Russian-English Dictionary of Nabokov's "Lolita",* 1982

Nappelbaum Moisei. *Our Age / Nash Vek*, bilingual, 1983

Newlin Margaret. *The Book of Mourning*, 1982

Newlin Margaret. *Collected Poems*, 1986

Newlin Margaret. *The Snow Falls Upward: Poems 1963–1975*, 1976

O'Bell Leslie. *Pushkin's "Egyptian Nights"*, 1984

O'Connor Katherine. *Boris Pasternak's "My Sister-Life": The Illusion of Narrative*, 1989

Okudzhava Bulat. *A Taste of Liberty*, 1986

Okudzhava Bulat. *65 Songs/65 pesen*, bilingual, 1980

Okudzhava Bulat. *Songs.* Volume II, bilingual, 1986

Olesha Yury. *The Complete Plays*, 1983

Olesha Yury. *The Complete Short Stories and "The Three Fat Men"*, 1979

Olesha Yury. *Envy,* 1975

Olesha Yury. *No Day Without a Line*, 1979

Osorgin Mikhail A. *Selected Stories Reminiscences and Essays*, 1982

Ostrovsky Alexander. *The Storm*, 1988

Ostrovsky Alexander. *Without a Dowry and Other Plays*, 1996

Passage Charles. *Character Names in Dostoevsky*, 1982

Pasternak Boris. *My Sister Life*, 1982

Patera Tatiana. *A Concordance to the Poetry of Anna Akhmatova*, 1995

Pavlova Karolina. *A Double Life*, 1978

Petersen Carl. *Each in Its Ordered Place: A Faulkner Collector's Notebook*, 1975

Peterson Ronald. *The Russian Symbolists*, 1986

Pilnyak Boris. *Mahogany & Other Stories*, 1993

Pilnyak Boris. *The Naked Year*, 1975

Pisemsky Alexei. *"Nina", "The Comic Actor" and "A n Old Man's Sin"*, 1988

Platonov Andrei. *Chevengur*, 1978

Platonov Andrei. *Collected Works*, 1978

Platonov Andrei. *The Foundation Pit / Kotlovan*, 1973

Pogorelsky Antony. *The Double or My Evenings in Little Russia*, 1988

Powers D. B. *Dictionary of Russian Verb Forms*, 1985

Proffer Carl. *A Book of Things about Vladimir Nabokov*, 1974

Proffer Carl ed. *Modern Russian Poets on Poetry. An Anthology*,

1974

Proffer Carl ed. *Russian Romanic Prose: An Anthology*, 1979

Proffer Carl ed. *Soviet Criticism of American Literature*, 1972

Proffer Carl. *The Widows of Russia & Other Writings*, 1987

Proffer Carl and Moody Fred. *Index to "Russian Literature Triquarterly" 1971–76*, 1978

Proffer Carl and Meyer Ronald. *Nineteenth-Century Russian Literature in English: A Bibliography of Criticism and Translation*, 1990

Proffer Carl and Proffer Ellendea eds. *The Ardis Anthology of Recent Russian Literature*, 1975

Proffer Carl and Proffer Ellendea eds. *The Ardis Anthology of Russian Futurism,* 1979

Proffer Carl and Proffer Ellendea eds. *The Barsukov Triangle The Two-Toned Blonde & Other Stories,* 1984

Proffer Carl and Proffer Ellendea eds. *Contemporary Russian Prose,* 1982

Proffer Carl and Proffer Ellendea eds. *The Silver Age of Russian Culture: An Anthology,* 1975

Proffer Carl et al. eds. *The Twenties: An Anthology,* 1987

Proffer Ellendea. *Bulgakov: Life & Work,* 1984

Proffer Ellendea. *E. Evreinov. A Pictorial Biography,* bilingual, 1981

Proffer Ellendea. *International Bibliography of Bulgakov*, 1976

Proffer Ellendea. *Marina Tsvetaeva. A Pictorial Biography / Fotobiografiia*, bilingual, 1980

Proffer Ellendea. *A Pictorial Biography of M. Bulgakov / Fotobiografiia*, bilingual, 1984

Proffer Ellendea. *Valdimir Nabokov. A Pictorial Biography*, 1991

Przybylski Ryszard. *An Essay on the Poetry of Osip Mandelstam*, 1987

Purishkevich V. M. *The Murder of Rasputin*, 1985

Pushkin Alexander. *The Bakhchesarian Fountain & Other Poems by Various Authors*, reprint, 1987

Pushkin Alexander. *Collected Narrative & Lyrical Poetry*, 1984

Pushkin Alexander. *Epigrams and Satirical Verse*, 1984

Pushkin Alexander. *Eugene Onegin*, first Ardis ed. 1993

Pushkin Alexander. *The History of Pugachev*, 1983

Pushkin Alexander. *A Journey to Arzrum*, 1974

Pushkin Alexander. *Ruslan and Liudmila*, 1974

Pushkin Alexander. *Three Comic Poems*, 1977

Rabinowitz Stanley. *The Noise of Change*, 1986

Radnoti Miklos. *The Complete Poetry*, 1979

Radnoti Miklos. *Subway Stops: Fifty Poems*, 1977

Razgon Lev. True Stories: *The Memoirs of Lev Razgon,* 1996

Rancour-Laferriere Daniel. *The Mind of Stalin*, 1988

Rancour-Laferriere Daniel. *Out from under Gogol's Overcoat*, 1982

Remizov Alexei. *Selected Prose*, 1985

Rice James. *Dostoevsky and the Healing Art*, 1985

Rice Martin. *Valery Briusov and the Rise of Russian Symbolism*, 1975

Richardson William. *"Zolotoe Runo" & Russian Mo dernism*, 1986

Rigsbee David. *Stamping Ground*, 1976

Rigsbee David and Proffer Ellendea eds. *The Ardis Anthology of New American Poetry*, 1977

Rosenberg William G. *Bolshevik Visions*, 1984

Rowe William Woodin. *Holiday Poems*, 1983

Rowe William Woodin. *Nabokov's Spectral Dimension*, 1981

Rowe William Woodin. *Nabokov & Others: Patterns in Russian Literature*, 1979

Rowe William Woodin. *Patterns in Russian Literature II: Notes on Classics*, 1988

Rudnitsky Konstantin. *Meyerhold the Director*, 1981

Russian literature triquarterly, RLT 24 vols., 1971–1991

Rydel Christine ed. *The Ardis Anthology of Russian Romanticism*, 1984

Sadovnikov Dmitry. *Riddles of the Russian People*, 1986

Saltykov-Shchedrin Mikhail. *The Golovlyov Family*, 1977

Saltykov-Shchedrin Mikhail. *History of a Town*, 1982

Saltykov-Shchedrin Mikhail. *The Pompadours*, 1985

Scheer Linda and Flores Ramirez Miguel eds. *Poetry of Transition: Mexican Poetry of the 1960s and 1970s*, 1984

Schultze Sydney. *The Structure of "Anna Karenina"*, 1979

Scott W.B. *Chicago Letter & Other Parodies*, 1976

Seaton Jerome. *The Wine of Endless Life. Taoist Drinking Songs from the Yuan Dynasty*, 1978

Shaginian Marietta. *Mess-Mend: Yankees in Petrograd*, 1991

Sheldon Richard. *Viktor Shklovsky: An International Bibliography of Works by and about Him,* 1977

Shklovsky Viktor. *Third Factory*, 1977

Shukshin Vasily. *"Snowball Berry Red" & Other Stories*, 1979

Sokolov Sasha. *A School for Fools*, 1977

Sollogub Vladimir. *The Tarantas: Impressions of a Journey*, 1989

Sologub Fyodor. *Bad Dreams*, 1978

Sologub Fyodor. *The Created Legend: A Trilogy, Drops of Blood Queen Ortruda Smoke and Ashes*, 1979

Sologub Fyodor. *The Petty Demon*, 1983

Stephens William. *Standard Forgings: Collected Poems*, 1978

Suslov Alexander. *Loosestrife City*, 1979

Svirski Grigory. *A History of Post-War Soviet Writing: The Literature*

of Moral Opposition, 1979
Tardieu Jean. *Formeries*, 1983
Teffi Nadezhda. *All About Love*, 1985
Thorson James L. ed. *Yugoslav Perspectives on American Literature*, 1980
Tolstoi Alexei. *Aelita,* 1985
Trahan Elizabeth ed. *Gogol's "Overcoat": An Anthology of Critical Articles*, 1982
Transtromer Tomas. *Selected Poems*, 1981
Trifonov Yury. *Disappearance,* 1991
Trifonov Yury. *The Exchange & Other Stories*, 1991
Trifonov Yury. *The Long Goodbye. Three Novellas*, 1978
Tschizewskij Dmitrij. *Russian Intellectual History*, 1978
Tsvetaeva Marina. *After Russia / Posle Rossii,* bilingual, 1992
Tsvetaeva Marina. *A Captive Spirit: Selected Prose*, 1980
Tsvetaeva Marina. *Demesne of the Swans/Lebedinyi stan*, bilingual, 1980
Tsvetaeva Marina. *Poem of the End*, bilingual, 1998
Turgenev Ivan. *Letters 2 vols.*, 1983
Tynianov Yury. *The Problem of Verse Language*, 1979
Vakhtin Boris. *The Sheepskin Coat & An Absolutely Happy Village*, 1988
Valkenier Elizabeth. *Russian Realist Art: The State and Society*, 1977
Varlamova Inna. *A Counterfeit Life*, 1988
Vinogradov V. V. *Gogol and the Natural School*, 1987
Visson Lynn. *The Complete Russian Cookbook*, 1982
Visson Lynn. *From Russian into English: An Introduction to Simultaneous Interpretation*, bilingual, 1991
Vogel Lucy ed. *Alexander Blok: An Anthology of Critical Essays and Memoirs*, 1982
Walton David. *Waiting in Line*, 1975
Wat Alexander. *Mediterranean Poems*, 1977
Wieder Laurence. *No Harm Done*, 1975
Williams Richard. *Savarin*, 1977
Wyspianski Stanislaw. *The Wedding*, 1990
Zamiatin Evgeny. *The Islanders*, 1978
Zamiatin Evgeny. *A Godforsaken Hole*, 1988
Zoshchenko Mikhail. *Before Sunrise*, 1974
Zoshchenko Mikhail. *A Man is Not a Flea*, 1989
Zoshchenko Mikhail. *Youth Restored*, 1985

Примечания

1

Дурной тон *(фр.)*.

Вернуться

2

Галлюцинирования *(фр.)*.

Вернуться

3

“Малоун умирающая” – отсылка к популярной ирландской песне, героиня которой, Молли Малоун, умирает от мучительной болезни. В Дублине установлен памятник Молли.

Вернуться

4

Букв: профессиональное искажение; здесь: печать профессии *(фр.)*.

Вернуться

5

В русском переводе Д. Чекалова: “Вообще они не слишком прислушивались к себе, только когда состарились”.

Вернуться

6

Роман успеха *(фр.)*.

Вернуться

7

Советчица *(ит.)*.

Вернуться

8

Приблизительно: “Женщины еще воспринимают меня как мужика” *(англ.)*.

Вернуться

9

Попова Н. И., Рубинчик О. Е. *Анна Ахматова и Фонтанный дом.* СПб., 2000.

Вернуться

10

Фраза “Сапоги выше Шекспира” возникла из пародийных текстов Достоевского. Ее стали приписывать Писареву.

Вернуться